

Николай Климонтович

ПО ЧУЖИМ ОРИГИНАЛАМ

Москва
Издательство «БПП»
2010

Текст представлен в авторской редакции

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА

**драма в трех актах
на тему романа Ф. М. Достоевского
«Идиот»**

ЛИЦА

Настасья Филипповна Барашкова

Лев Николаевич Мышкин, князь

Парфён Рогожин, наследник миллионов

Ганя

Аглая

Чиновник

Генерал

Дарья Алексеевна, из актрис

Генеральша

Поручик

Садовый оркестр, дачники, зеваки — *на усмотрение
театра*

Акт 1. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светская гостиная, великолепно убранная, редкие вещи и мебель, картины, огромная статуя Венеры.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*в строгом чёрном платье и мантилье*). Третьего дня я обещала Афанасию Ивановичу Тоцкому и вам, генерал, что сегодня вечером скажу последнее слово: быть или не быть. (*Отворачивается*).

ГЕНЕРАЛ. Мы так приставали оба, что вынудили. (*Гане*) Так смотри же, Ганя.

ГАНЯ. Это она наверное говорит?

ГЕНЕРАЛ. Ты же слышал: слово дала. Только тебе просила до времени не передавать.

ГАНЯ. Но ведь за мною полная свобода решения до тех самых пор, пока не решит дела сама. Да и тогда ещё моё слово за мной.

ГЕНЕРАЛ. Так разве ты... разве ты...

ГАНЯ. Я ничего.

ГЕНЕРАЛ. Помилуй, что ж ты с нами-то, с Тоцким Афанасием Ивановичем хочешь сделать?

ГАНЯ. Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился.

ГЕНЕРАЛ. Ещё бы ты отказывался! Тут, брат, дело уж не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которою ты примешь её слова...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Господа, не хотите ли пить шампанское? Шампанское приготовлено. Пожалуйста, без церемоний. (*Поднимает бокал.*) Я и сама сегодня выпью три бокала!

ЧИНОВНИК. Bravo!

Все, кроме Гани, берут бокалы.

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. (*Настасье Филипповне*). Да у вас как будто маленькая лихорадка?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Даже большая, а не маленькая. Я для того и в мантилью закуталась. Ну, да это ничего, господа. Ваше присутствие сегодня особенно для меня необходимо.

ЧИНОВНИК. Нас однажды — вот так же, как нынче — компания собралась. Ну, подпили, это правда, и вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый рассказал про себя вслух, что сам, по чистой совести, считает самым дурным из своих поступков в продолжение жизни. Но с тем, главное, чтобы было искренне!

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Это что же, новое какое-нибудь пети-жё?

ЧИНОВНИК. И великолепнейшее!

ГЕНЕРАЛ. Странная мысль.

ЧИНОВНИК. Да уж чем страннее, Ваше Превосходительство, тем-то и лучше!

ГЕНЕРАЛ. И неостроумно.

ЧИНОВНИК. Извольте видеть-с, у всех есть остроумие, а у меня нет остроумия. В вознаграждение я и выпросил у хозяйки позволение говорить правду. Это ж всем известно, что правду говорят только те, у кого нет остроумия.

ГАНЯ. Да и как же тут доказать, что я, положим, не солгу? А если солгу, то вся мысль игры пропадёт.

ЧИНОВНИК. Тебе, Ганечка, опасаться нечего, что солжешь, потому самый скверный твой поступок и без

того всем известен. Как ты князя-то по щеке, чтоб, значит, дорогу не переступал.

ГАНЯ (*Настасье Филипповне*). Он простил меря. Я пришёл к нему повиниться и сказал, что поступил подло. Он обнял меня, и мы поцеловались...

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. А я вот не знаю, который из моих поступков самым дурным считать.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Право, это бы хорошо (*Оживляясь*) Право бы, господа? В самом деле, нам как-то невесело. Если бы каждый из нас согласился бы рассказать... в этом роде. Разумеется, тут полная воля...

ГЕНЕРАЛ. Неужели это в самом деле серьёзно, Настасья Филипповна?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Волка бояться — в лес не ходить.

ГЕНЕРАЛ. Да и невозможно устроить из этого петижё. Такие вещи никогда не удаются.

ЧИНОВНИК. Как же не удаются! Я рассказал же в прошлый раз, как три целковых украл в чужом доме. Да и на служанку, как хватились, указал. И необыкновенное удовольствие ощутил именно от того, что я ей проповедую покаяться, а бумажка-то у меня в кармане лежит.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Как это грязно!

ЧИНОВНИК (*с неожиданной злобой*). Вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок и при этом блеска требуете. Да есть ли такой на свете честный человек, который хотя бы раз в жизни чего-нибудь не украл! У нас, конечно, чин маленький, но мы — русский человек! Мало ли кто свою карету имеет... но какими способами!

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Фу, как это глупо. И какой вздор. Не может быть, чтобы все чего-нибудь и украли. Я никогда ничего не украла!

ЧИНОВНИК. Вы никогда ничего не украли, но что скажет их превосходительство?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Если вы откажетесь генерал, то у нас всё вслед за вами расстроится. И мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать в заключение... один анекдот. Вы должны же меня ободрить.

ГЕНЕРАЛ. О, если и вы обещаетесь, то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать.

ЧИНОВНИК. Сейчас надует, вместо сквернейшего их превосходительство расскажет один из хороших своих поступков...

Входит КНЯЗЬ, одет по-европейски.

Ба, да это никак их сиятельство?!

КНЯЗЬ (*Настасье Филипповне*). Я беспокоился, что не примете, но всё равно... Может быть, смеяться будете в глаза...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Я сожалела, что давеча, впопыхах, забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай вас поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость.

ГЕНЕРАЛ. Это, положим, он так пришёл единственно по своей невинности.

ЧИНОВНИК. Сам напросился? А коли так, то он у нас заплатит за вход. С того и начнёт, что модный романс споёт.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Не думаю... Не горячитесь.

ЧИНОВНИК. Ну, если князь у вас под особым покровительством, то смягчаюсь и я.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*глядя на князя*). И как это он сказал про меня давеча: разве вы такая, какую представляетесь. И может ли это быть!.. А ведь он угадал, я и в самом деле не такая...

КНЯЗЬ. В вас всё совершенство... даже то, что вы худы и бледны... Вас и не желаешь представить иначе... Мне так хотелось к вам прийти и... Простите.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Не просите прощения, этим нарушается вся странность и оригинальность. Правда, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Отвыкли от нашего-то?

КНЯЗЬ. Верите ли, дивлюсь, как говорить по-русски не забыл. Четыре года в России не был. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю: а ведь хорошо говорю. Как приехал, всё по-русски говорить хочется... Я сиротой рос, матери своей не помню...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Вот скажите, я и тогда вас спросить хотела: почему вы меня не разуверили давеча, когда я так ужасно... в вас ошиблась?

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Ошиблась? Что такое?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Вообразите, господа, я давеча в прихожей в квартире Гаврилы Ардальоновича приняла князя — за лакея и доложить послала. Да ещё за колокольчик отчитала, что поправить лень. И шубу ему на руки сбросила. (*Смеется*)

КНЯЗЬ. Я удивился очень, увидя вас так вдруг...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. А как же вы узнали, что

это я? Где вы меня видели прежде? И позвольте спросить, почему давеча вы остолбенели на месте? Что во мне такого остолбеляющего?

ЧИНОВНИК. О, господи, да на такой вопрос каких только вещей можно наказать. Пентюх же ты, князь, после этого.

КНЯЗЬ. Давеча мне Ганя ваш портрет, что вы ему подарили, показал. И меня ваш портрет поразил очень. А потом вот с генералом мы про вас говорили. И ещё один случайный знакомый, Парфён Рогожин, на железной дороге мне много про вас... Я ваши глаза точно где-то видел... Может быть, во сне.

Настасья Филипповна странно смотрит на князя.

ГЕНЕРАЛ. Вот ещё новости. Это какой же Рогожин? Я слышал от Настасьи Филипповны, кажется... Какой-то она анекдот с серьгами пересказывала.

ГАНЯ. Вероятно, одно только безобразие. Купеческий сынок гуляет.

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Что за история? Мы ничего не знаем.

ГЕНЕРАЛ. Что-то о подвесках бриллиантовых. Вроде бы этот самый Рогожин на отцовские деньги купил подвески у ювелира тысяч на десять и преподнёс.

ЧИНОВНИК. У-ух! Покойник ведь не то, что за десять тысяч — за десять целковых на тот свет сживывал.

ГЕНЕРАЛ. И будто бы старик узнал про проказу сына, сам к Настасье Филипповне явился, земно кланялся ей, плакал и умолял вернуть ему коробку-то. И, кажется, Настасья Филипповна ему серьги швырнула и говорит: мне этот подарок теперь в десять дороже, коли из-под

такой грозы его Парфён добывал!

ЧИНОВНИК. С месяц тому назад старый Рогожин, потомственный почетный гражданин, помре и два с половиной миллиона капитала ему оставил. Теперь, господа, что подвески, теперь они такие подвески вознаграждают!..

ГЕНЕРАЛ. Тут может быть не только миллион, но страсть, безобразная страсть. А ведь известно на что эти господа способны во всём хмелю. Не вышло бы ещё анекдота какого.

ГАНЯ (*Князю*). А как вам показалось, князь, — по случайному-то знакомству — серьёзный какой-нибудь человек этот Рогожин или только так, безобразник? Собственно ваше мнение?

КНЯЗЬ. Не знаю, как вам сказать, только мне показалось, что в нём много страсти, и даже какой-то большой страсти.

ГЕНЕРАЛ. Вам так показалось? Тогда, пожалуйста, всё дело в том, что у него в голове мелькнёт.

ГАНЯ. А как вы думаете, князь, может быть, Рогожин этот и жениться на Настасье Филипповне вздумал?

КНЯЗЬ. Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женится, а через неделю, пожалуй, что и зарежет... (*Гане*) Что с вами?

НАСТАСЬЯ ФИЛИПОВНА. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете?

КНЯЗЬ. У вас — удивительное лицо. И я уверен, судьба у вас — необыкновенная. Лицо весёлое, а ведь вы ужасно страдали. Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. У вас гордое лицо, ужасно гордое, а вот не знаю — добры ли

вы? Ах, кабы добры, всё было бы спасено.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Добра ли? Вы хоть и мастер угадывать, однако ж в этом ошибаетесь. Я вам сегодня же об этом напомню...

ГАНЯ (*сбивчиво*). Я наблюдал князя почти безостановочно, с того самого мгновения, когда он давеча в первый раз на ваш портрет поглядел... Он в точности всё сейчас повторил — и про страдания, и про доброту... я очень хорошо помню. Я ещё давеча подумал о том, в чём теперь убеждён совершенно и в чём, мимоходом сказать, мне на мой вопрос князь сам признался...

КНЯЗЬ. Я вам не делал признаний.

ГАНЯ. Как же, я ещё спросил, женились бы вы на такой женщине. А она чрезвычайно русская женщина, я вам скажу...

ГЕНЕРАЛ. А я-то, князь, вас считал за философа. Ай да тихонький!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*в возбуждении*). Господа, а что наше пети-жё? Посвятим же князя! Ваша очередь, генерал.

ГЕНЕРАЛ. Признаюсь, ожидая очереди, я уж приготовил свой анекдот.

ЧИНОВНИК. Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете, мне вот всё кажется, что на свете гораздо больше воров, чем не воров. Это моя мысль. Из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что все сплошь одни воры. Хотя, ей-богу, ужасно хотелось бы иногда и это заключить...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*Чиновнику*). Вы ужасно много болтаете лишнего, и никогда не докончите!

ЧИНОВНИК. А вы-то сами, князь, ничего не украли?

ГЕНЕРАЛ. Фу! Как это смешно! Опомнитесь...

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Дайте же генералу сказать!

ГЕНЕРАЛ. Мне, господа, как и всякому, случалось делать поступки не совсем изящные. Но один я по совести считаю сквернейшим. Случилось стоять в городке на квартире у одной отставной подпоручицы, вдовы, лет восьмидесяти была старушонка, домишко ветхий, дрянной. Жила с ней когда-то племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма, раз даже старуху укусила за палец, но та и померла. И вот старуха украла у меня петуха. Дело до сих пор тёмное, но кроме неё было некому. За петуха мы поссорились, а тут меня на другую квартиру перевели. Проходит три дня, денщик докладывает, что, мол, напрасно, ваше благородие, миску у старухи оставили, не в чем суп подавать. Старуха, значит, ему сказала, что я ей миску будто бы в плату за разбитый горшок оставил. Такая низость с её стороны вывела меня из последних границ, кровь закипела, вскочил, полетел. Гляжу, старуха сидит в сенцах, в углу, рукой щёку себе подперла. Я тотчас, знаете, на неё, и эдак по-русски, а она сидит, лицо на меня уставила, глаза выпучила и — ни слова в ответ, странно так смотрит и как бы качается... Потом узнал, что она померла. Это, значит, в то самое время, когда я её ругал, она и отходила.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Вы изверг! (*Хохочет и хлопает в ладоши.*)

ЧИНОВНИК. Браво, браво! Вот так анекдот!

ГЕНЕРАЛ. Тут одно оправдание, поступок в некотором роде психологический, но всё-таки я не мог успокоиться, пока не завёл лет пятнадцать назад двух посто-

янно больных старушонок на свой счёт в богадельне.

ЧИНОВНИК. Надули вы нас, ваше превосходительство, я так и знал наперёд, что надуете!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*небрежно*). Я и не вообразжала, генерал, что у вас-таки доброе сердце, даже жаль. Да и правы вы были, пети-жё прескучное, надо бы поскорей кончить. Расскажу сама, что обещала, и давайте все в карты играть.

ГЕНЕРАЛ. Но обещанный анекдот прежде всего!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*неожиданно резко*). Князь! Здесь старые мои друзья — его превосходительство и другой, давний мой покровитель Афанасий Иванович Тоцкий, — меня всё замуж хотят выдать. Скажите мне, как вы думаете: выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю.

КНЯЗЬ. За... за кого?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Да вот — за Гаврилу Ардальоновича.

КНЯЗЬ (*после нескольких секунд молчания*). Н-нет... не выходите.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Так тому и быть! Гаврила Ардальонович, вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ; и пусть это дело кончено раз и навсегда!

ГЕНЕРАЛ (*умоляюще*). Настасья Филипповна!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Что вы, господа, что вы так всполохнулись? И какие у вас всех лица! Хорош мой анекдот?

ГЕНЕРАЛ. Но что же сказать Афанасию Ивановичу?.. Ведь вы ему обещание дали... вполне добровольное, и могли бы отчасти и пощадить... Как же теперь, в такую

минуту, и при людях... кончить таким пети-жѐ дело серьёзное, дело чести и сердца...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Что такое — при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И разве это не серьезно? Сказал бы князь «да», я бы тотчас дала согласие. Тут моя вся жизнь на одном волоске висела.

ГЕНЕРАЛ. Но князь, почему тут князь? И что такое, наконец, князь?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. А князь для меня то, что я в него в первого во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю.

ГАНЯ. Мне остаётся только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с какою она со мной поступила. Но князь в этом деле...

НАСТАСЬЯ ФЛИППОВНА. До денег моих добирается, это вы хотели сказать? Да все деньги, что мне в приданое мой покровитель Афанасий Иванович Тоцкий положил, я ему же и возвращаю. Слышите, генерал, так ему и передайте — мол, отпускает его Настасья Филипповна на волю даром! Да и вы, генерал, ваш-то жемчуг тоже не забудьте! А я с сегодняшнего дня и вообще с квартиры съезжаю. Так что этот вечер у нас — последний. Шампанского, господа!

Очень сильный удар колокольчика.

А-а-а! Вот и развязка! Половина двенадцатого! Наконец-то!

ЧИНОВНИК (*выглянув в прихожую, торжественно*). Сам Рогожин!

РОГОЖИН, в сапогах, в ярко-зелёном с красным шарфе с огромной бриллиантовой булавкой, входит и кладёт на стол нечто, завернутое в «Биржевые ведомости».

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Что это такое?

РОГОЖИН. Сто тысяч!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. А, сдержал-таки слово, каков! Господа! Давеча вот он закричал как сумасшедший, что привезёт мне вечером сегодня, когда я именинница, сто тысяч — вот они, в этой грязной пачке. Это он торговал меня: начал с восемнадцати, потом скакнул на сорок, а потом вот и эти сто. Сдержал-таки слово!

РОГОЖИН. Как? И ты тут, князь? Всё в штиблетиках, э-эх! Чуть из чужих краёв — сразу к Настасье Филипповне!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА *(о Рогожине)*. Фу! Какой он бледный!

ГЕНЕРАЛ. Настасья Филипповна!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Что такое, генерал? Не прилично, что ли? Да ведь что я во французском-то театре в ложе Тоцкого пять лет как неприступная невинность сидела, как гордая добродетель, так ведь это всё дурь меня доехала!.. Ганечка, я вижу, ты на меня до сих пор ещё сердишься? Да неужто ты меня в свою семью ввести хотел, меня-то, рогожинскую?!

ДАСРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. И неужели ты с эдаким отправится хочешь, хошь и за сто тысяч. А ты сто тысяч-то возьми, а его прогони, вот как с ними надо делать. Эх, я бы на твоём месте...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Да неужто, Ганя, ты меня взять мог, зная, что вот он *(показывает на Генерала)*

чуть не накануне твоей свадьбы мне жемчуг дарит? А я беру...

РОГОЖИН (*вдруг указывая на Ганю*). Он — Иуда, покажи я ему три целковых, вынь вот теперь из кармана, — на Васильевский остров за ними доползёт на карачках. Ты не смотри, что я в таких сапогах пришёл, у меня денег, брат, много, всего тебя и со всем твоим живьём куплю... Э-эх, Настасья Филипповна, не прогоните, скажите словцо: венчаетесь вы с ним или нет?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*Гане*) Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал? И добро бы с голоду умирал, а то ведь жалованье хорошее получаешь. Этакой за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребёнок, а уж лезет в ростовщики! (*Гане*) Я бесстыжая, а ты — того хуже!

ГЕНЕРАЛ. Вы ли это, Настасья Филипповна!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Я теперь во хмелю, генерал. Я гулять хочу! Сегодня мой день! Мой високосный день, я его давно поджидала. И за что я мои пять лет с Тоцким в эдакой злобе потеряла? (*Дарье Алексеевне*) Я бы замуж давно могла пойти, да и не то что за Ганечку, да ведь очень уж мерзко. Нет, уж лучше на улицу, где мне и следует быть! Иль разгуляться с Рогожиным, иль завтра же в прачки пойти! Потому ведь на мне ничего своего нет, уйду — всё покровителю оставлю, а безо всего меня кто возьмёт, а, Ганя? (*Показывает на Чиновника.*) Да меня и он не возьмёт.

ЧИНОВНИК. Я не возьму, Настасья Филипповна, я человек откровенный, зато князь — возьмёт. Вы взгляните-ка на князя, я уж давно наблюдаю...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*Князю*). Правда?

КНЯЗЬ (*шёпотом*). Правда.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Возьмёте как есть, без ничего?!

КНЯЗЬ. Возьму, Настасья Филипповна.

ГЕНЕРАЛ. Вот и новый анекдот.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОГНА (*Дарье Алексеевне*). Вот ещё один нашёлся благодетель. И ведь впрямь — от доброго сердца. (*Князю*) Чем жить-то будешь, коли уж так влюблён, что рогожинскую берёшь, за себя-то, за князя-то?

КНЯЗЬ. Я вас честную беру, Настасья Филипповна, не рогожинскую.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Это я честная-то?

КНЯЗЬ. Вы.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Это, князь, голубчик, старые бредни, а нынче свет поумнел, и всё это вздор. Да и куда тебе жениться, за тобой за самим ещё няньку нужно.

КНЯЗЬ (*дрожа*). Я ничего не знаю, я ничего здесь не видел, вы правы... но я... я сочту, что не я вам, а вы мне сделаете честь. Я ничто, а вы — страдали. Из такого ада чистые вышли. А это много. Я вас... Настасья Филипповна... люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*тихо*). Я не смею честной быть.

КНЯЗЬ. Вы больны, за вами уход нужен.

ЧИНОВНИК. Ай да последний князь!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Значит, в самом деле — княгиня! Развязка неожиданная... я не так ожидала... Да что ж вы, господа, стоите, сделайте одолжение, сяди-

тес. Поздравьте меня с князем! Кто-то, кажется, просил шампанского? Я ведь замуж выхожу, слышали? Он князь; и меня берёт!

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Да и с богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Да садитесь же подле, князь, вот и вино несут... Поздравьте же господ!

ГЕНЕРАЛ (*шёпотом*). Князь, голубчик, опомнись!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*хохоча*). Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, я теперь с вашей женою везде рядом сяду! Опоздал, Рогожин, убирай свою пачку, я за князя замуж выхожу!

Рогожин (*Князю*). Отступись!

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Это для тебя отступиться-то? Ишь, деньги вывалил на стол, мужик! Князь-то замуж берёт, а ты — безобразничать явился!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Слышь, князь, вот так твою невесту мужик торгует.

КНЯЗЬ. Он пьян. Он вас очень любит.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала?

КНЯЗЬ. Это вы в лихорадке были. Вы и теперь в лихорадке...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. И не постыдишься, что твоя жена в содержанках у Тоцкого жила?

КНЯЗЬ. Нет, не постыжусь.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. И никогда не попрекнёшь?

КНЯЗЬ. Не попрекну.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Смотри, за всю-то жизнь не ручайся!

КНЯЗЬ. Настасья Филипповна! Я говорил, что за честь приму ваше согласие, вы на эти слова усмехнулись, кругом тоже смеялись, я, может, смешно выразился, и сам был смешон... но я понимаю, в чём честь! Вы вот сейчас себя загубить хотели безвозвратно, потому что потом никогда не простили бы себе этого. А ведь то, что вы уже сделали — на то немногие способны. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы господину Тоцкому деньги отдали, и всё, что здесь есть, всё бросите, этого никто здесь не сделает. Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновною себя считаете...

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (*в умилении*). Вот так добрый человек.

ГЕНЕРАЛ. Образованный, но погибший!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Спасибо, князь, со мной так никто до сих пор не говорил... Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты и не уйдёшь. Ты куда везти-то хотел?

РОГОЖИН. В Екатерингоф.

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Да ты что, матушка, с ума что ли сошла?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*хохоча, вскакивая с дивана*). А ты и впрямь думала?! Этакого-то младенца и сгубить! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! Я сама бесстыдница, я Тоцкого наложницей была!.. Князь, князь, послушай, что я тебе скажу. Запоминай: тебе — Аглаю надо, а не Настасью Филипповну. Запомнил?

ГЕНЕРАЛ. Что? Моя дочь?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*Князю*). А я буду бояться, коль ты ничего не боишься, что тебя загубила, да что

потом попрекнёшь. (*Гане*) А ты, Ганечка, Аглаю-то посмотрел...

ГЕНЕРАЛ. Причем здесь она?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Прав был — князь тебе дорогу-то переступит, зря ты его давеча целовал. Тебе бы, Ганечка, не торговаться с нею — она бы и пошла за тебя... Ишь, генерал-то смотрит, рот открыл...

ГЕНЕРАЛ. Это содом, содом!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*Князю*). Я, может быть, и правда гордая, нужды нет, что бесстыдница. Ты вот меня совершенством называл: хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что княжество растоптала — в трущобу идет... Что же ты, Рогозин? Собирайся, едем!

РОГОЖИН (*ревёт*). Едем!

КНЯЗЬ (*стонет*). Неужели!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. А музыка будет?

РОГОЖИН (*в исступлении*). Будет, будет! Никто не подходи! Моя! Всё моё! Королева! Конец!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*хохоча*). Да не ори ты, я ещё у себя хозяйка. Захочу, ещё тебя в толчки выгоню! Я и денег-то ещё с тебя не взяла. Вот они лежат, давай их сюда, всю пачку! Фу, какая мерзость. А князю — где ему лениться, ему самому няньку... Да что ты, князь, плачешь-то? Не печалься, всё пройдет... Да я и сама, кажется, плачу. Нет, лучше простимся по-доброму, а то ведь я и сама мечтательница. И разве я о тебе не мечтала?! Ещё когда в деревне жила, всё такого, как ты, воображала, — доброго, честного, хорошего и такого глупенького... что вдруг придёт и скажет: вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю. Да так бывает, замечтаешься, что с ума сойдёшь... Рогожин, готов?

РОГОЖИН. Готово! Не подходи! Тройки ждут с колокольчиками!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Ганька! Мне мысль пришла, я тебя вознаградить хочу, потому что тебе-то что же всё терять. Рогозин, доползёт он на Васильевский за три целковых?

РОГОЖИН. Доползёт!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Ну, так слушай, Ганя, видишь ты эту пачку? В ней сто тысяч! Вот я её сейчас брошу в камин, в огонь, и как только огонь охватит её всю — полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и тащи пачку из огня. Вытащишь — все сто тысяч твои! А не полезешь, так и сгорит; никого не пущу. Прочь! Все прочь! Мои деньги! Я их за ночь у Рогозина взяла! *(Бросает пачку в огонь.)*

ГЕНЕРАЛ. Не связать ли её нам? С ума ведь сошла? Вот тебе и колоритная женщина, как Тоцкий выражается...

ЧИНОВНИК. Ведь, однако, сто тысяч!

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Господи, господи!

ЧИНОВНИК *(падая на колени)*. Матушка! Королева всемогущая! Милостивая! повели мне в камин — весь влезу!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Прочь! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись, полезай — твоё счастье!

Все расступаются. Ганя стоит лицом к лицу с Настасьей Филипповной, смотрит в огонь.

Иди, ведь после повесишься, я не шучу!

ЧИНОВНИК. Матушка, не губи!

РОГОЖИН *(оттаскивая чиновника)*. Вот это так ко-

ролева! Вот это так по-нашему!

ЧИНОВНИК (*отбиваясь*). Я зубами вытащу за одну только тысячу!

ВСЕ. Горит! горит!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Ганя, в последний раз говорю!

ЧИНОВНИК. Полезай! Полезай, фанфаронишко!

ГАНЯ, оттолкнув ЧИНОВНИКА, падает в обморок.

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Обморок!

ЧИНОВНИК. Матушка, сгорят!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Воды ему! (*Каминными щипцами выхватывает пачку.*)

Деньги рассыпаются.

ЧИНОВНИК. Разве тыщонка какая только и попортилась. Остальные все целы.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Вся пачка его, Ганина, слышите, господа! Не пошел-таки, выдержал! Я отдаю ему в полную собственность, в вознаграждение!

ЧИНОВНИК (*будто во сне*). Отчего бы им буреть. Они иногда вдруг ужасно буреют. А другие, напротив, совсем линяют.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Рогожин, марш! Прощай, князь, в первый раз человека видела! Прощайте, генерал, мерси!

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Да неужто, матушка, совсем нас покидаешь? Да и куда же ты пойдёшь в день рождения-то?

ГЕНЕРАЛ (*удерживая князя*). Помилуй, князь,

опомнись...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. На улицу пойду, там мне и место. А не то в прачки. Кланяетесь Тоцкому от меня, довольно с шил... И — не понимайте лихом. (*Выбегает*).

ГЕНЕРАЛ. Брось, князь, как отец говорю...

РОГОЖИН (*делая вдруг к Князю шаг*). Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может оттого, что в эдакую минуту встретил. Да ведь и его встретил (*показывает на Чиновника*), но не полюбил же его. Приходи ко мне, князь...

ЧИНОВНИК. Внимайте, князь, ой, не упускайте!

РОГОЖИН (*Чиновнику*). Ещё слово молвишь, то, вот тебе Бог, высеку!

ЧИНОВНИК. А коли высечешь, значит, и не отвергнешь. Секи! Высек, и тем самым запечатлел!

РОГОЖИН. Таких, как ты, князь, Бог любит.

ЧИНОВНИК. Любит Бог.

РОГОЖИН (*Чиновнику*). Ступай и ты за мной, строкка. (*Выбегает следом за Настасьей Филипповной.*)

ЧИНОВНИК устремляется за РОГОЖИНЫМ.

ГЕНЕРАЛ (*им вслед*). Искренно жаль. Погибшая женщина. Женщина сумасшедшая. А знаете, князь, говорят, у японцев в этом роде бывает. Обиженный будто бы идет к обидчику и говорит ему: ты меня обидел, за это я пришёл распороть живот в твоих глазах. И с этими словами действительно распарывает себе живот... Да куда же вы?

КНЯЗЬ, не сказав ни слова, убегает.

Странные бывают на свете характеры!

Акт 2. СКАНДАЛ

Летний вокзал в Павловске со скамьями и оркестром в глубине; зелёная скамейка.

АГЛАЯ (*на скамейке с раскрытой книгой*). Жил на свете рыцарь, бедный, молчаливый и простой. С виду сумрачный и бледный. Духом смелый и прямой. / Он имел одно виденье, Непостижимое уму, — и глубоко впечатленье В сердце врезалось ему. / Путешествуя в Женеву, Он увидел у креста на пути Марию Деву, Матерь Господа Христа. / С той поры, сгорев душой, он на женщин не смотрел, он до гроба ни с одною Молвить слова не хотел. / Полон чистою любовью, верен сладостной мечте, А. Н. Ф. своею кровью начертал он на щите.

У вокзала появляется князь.

Нет А. Н. Ф. своею кровью... (*Убегает.*)

КНЯЗЬ (*затравленно озираясь*). Я когда с чугунки сейчас ходил, видел на станции странный взгляд чьих-то двух горячих глаз.

РОГОЖИН (*выступая на свет со старой книгой в руке*). Что так пристально смотришь, князь?

КНЯЗЬ. Парфён, скажи прямо, знал ты, что я приеду в Павловск?

РОГОЖИН (*усмехаясь*). Что ты приедешь, я так и думал. И, видишь, не ошибся.

КНЯЗЬ. Да хоть бы и думал, из-за чего же так раздражаться?

РОГОЖИН. Ты к чему спрашиваешь-то?

КНЯЗЬ. Выходя из вагона, я видел пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади посмотрел на меня?

РОГОЖИН. Чьи же были глаза-то?

КНЯЗЬ. Не знаю. Мне кажется, что померещилось, Мне начинает всё что-то мерещиться... Это что же у тебя, Библия?

РОГОЖИН (*усмехнувшись*). Святое писание.

КНЯЗЬ. Ты что же, Библию с собою носишь?

РОГОЖИН. А я, разве, не русский христианин православный?

КНЯЗЬ. Конечно, конечно...

РОГОЖИН. А ты что ж, опять за границу?

КНЯЗЬ (*не слыша*). Давно мы не видались. Про тебя я такие вещи слышал, как будто и не ты...

РОГОЖИН. Мало ли что нараскажут...

КНЯЗЬ. Свадьбу-то в Петербурге справлять будешь?

РОГОЖИН. В Петербурге.

КНЯЗЬ. Скоро у вас?

РОГОЖИН. Сам знаешь, от меня ли зависит?

КНЯЗЬ. Парфён, я тебе не враг. Мешать тебе ни в чём не намерен. Это я тебе повторяю тоже, как заявлял и прежде, в такую же почти минуту. Когда твоя первая свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. В первый раз она сама ко мне бросилась, чуть не из-под венца. Просила: спаси меня от него. Я её собственные слова тебе повторяю. Потом и от меня убежала, ты опять её разыскал, опять к венцу повёл, и вот, говорят, она опять от тебя убежала сюда. Правда это?

РОГОЖИН. Посиди со мной. Я давно тебя не видал.

КНЯЗЬ. Ехал же я в Павловск, имея намерение: я

хотел её наконец уговорить за границу поехать. Для поправления здоровья... Но если совершенная правда, что у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь. Ты сам знаешь, я тебя не обманываю, потому что всегда был откровенен с тобой... Я всегда говорил, что за тобою ей непременно погибель. И тебе тоже гибель... Может быть, пуще чем ей. Если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен; но расстраивать и разлаживать вас я не намерен... А коли мы за границу бы уехали, мы жили бы розно, в разных городах... Будь спокоен и не подозревай меня. Я ведь тебе и прежде растолковывал, что я её не любовью люблю, а жалостью. Вон как ты ненавистно смотришь!

РОГОЖИН. В эти три месяца, что я тебя не видал, каждую минуту на тебя злобился. Теперь ты четверти часа со мной не сидишь, и опять по-прежнему люб... Да тут, брат, не нашего мнения спрашивают, тут без нас положили. Мы вот и любим тоже порозну, во всем разница есть. Ты вот жалостью, говоришь, любишь, а во мне никакой такой жалости к ней нет. Она мне теперь во сне снится каждую ночь — всё с другим надо мной смеется. Мало она меня срамила...

КНЯЬ. Как срамила? Что ты?

РОГОЖИН. Да ведь с тобою же от меня бегала изпод венца, сам сейчас выговорил... А разве она с офицером, с Земтюжниковым, меня в Москве не срамила? И уж после того, как венцу назначила срок.

КНЯЗЬ. Быть не может!

РОГОЖИН. Верно, знаю! Что не такая! Один это только вздор. С тобой она будет и не такая, сама, пожалуй, этому делу ужаснётся, а со мной вот именно такая.

С Келлером, с офицером, что боксом дрался, так наверное знаю, для одного смеху надо мной сочинила... Да ты не ведаешь ещё, что она надо мной выделявала! А денег-то денег сколько перевёл...

КНЯЗЬ. Да... как же ты теперь женишься! Как потом-то будешь?

РОГОЖИН. Я уж пятый день у ней не был. Боюсь — выгонит. Я, говорит, еще сама себе госпожа, захочу, так и совсем тебя прогоню. А сама за границу поеду! (*Глядя на князя пронзительно.*) Это она уж мне говорила, что за границу-то поедет! А горничной Катьке такую мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде жила, а такой ещё не видывала... Крадучись мимо её дачи по улице хожу, когда невтерпёж станет... Она недавно в Павловке, но внимание на себя обращает. Живёт на даче у Дарьи Алексеевны, ну, ты помнишь, из актрис, а экипаж — чуть не первый. Вкруг неё уж целая толпа собралась. И молодых и старых. Коляску иногда верхом сопровождают. Такая команда образовалась. Один формальный жених, из дачников, уж поссорился из-за неё со своею невестой, а другой, старичок-генерал, почти своего сына проклял... В Москве я её тогда ни с кем не мог изловить, хоть и долго ловил. Однажды взял да и говорю: а знаешь, кто ты такая?

КНЯЗЬ. Ты ей сказал?

РОГОЖИН. Сказал.

КНЯЗЬ. Ну?

РОГОЖИН. Я тебя, говорит, в лакеи-то к себе, может взять не захочу, не то что твоей женой быть! Я кинулся на неё и избил до синяков.

КНЯЗЬ. Быть не может!

РОГОЖИН. Говорю, было. Потом полторы сутки не спал, не ел, не пил, из её комнаты не выходил, на колени перед ней становился: умру, говорю, не выйду, пока не простишь... Так вот у нас теперь. Как ты обо всем этом думаешь, князь?

КНЯЗЬ. Сам как думаешь?

РОГОЖИН. Да разве я думаю.

КНЯЗЬ. Я тебе все-таки мешать не буду.

РОГОЖИН (*вдруг*). Как это ты так мне уступаешь — не понимаю. Аль уж её разлюбил? А что я тогда сломя голову сюда прискакал — из жалости?

КНЯЗЬ. Ты думаешь, я тебя обманываю?

РОГОЖИН. Нет, я тебе верю... Но только злость твоя, пожалуй, еще пуще моей любви.

КНЯЗЬ. Твою любовь от злости не отличишь. А пройдет она — пуще беда будет.

РОГОЖИН. Что зарезу-то?

КНЯЗЬ (*вздрагивая*). Ненавидеть её будешь за эту теперешнюю любовь. Да и всего для меня чудеснее — как она сама-то может идти за тебя? Ведь уж два раза из-под венца убежала и от тебя отреклась... Видно в том дело, что любишь ты её так сильно. Это разве... Я слыхивал, что есть такие женщины, что именно этакой любви ищут... Как тяжело ты смотришь теперь на меня, Парфён.

РОГОЖИН. Да неужели, князь, ты и впрямь до сих пор не спохватился, в чём тут дело?

КНЯЗЬ. Не понимаю тебя.

РОГОЖИН. Другого она любит — вот что пойми! Точно так, как я её люблю теперь, точно так она другого любит. А другой этот знаешь кто? Ты.

КНЯЗЬ. Я?!

РОГОЖИН. Она тебя с тех самых пор, с именин-то, и полюбила. Только она думает, что выйти за тебя ей никак невозможно. Тебя сгубить и опозорить боится, я, говорит, известно какая. А за меня, значит, ничего, можно выйти...

КНЯЗЬ. Да она же от меня — к тебе убежала.

РОГОЖИН. Да мало ли ей что войти вдруг в голову. Она вся точно в лихорадке теперь. То кричит — скорее свадьбу! То плачет, то смеётся... Она от тебя и убежала тогда, потому что сама спохватилась, как тебя сильно любит!.. *(Пауза)* Ты давеча сказал, что я её тогда разыскал. Неправда — сама ко мне прибегала: назначь, кричит, день, я готова! Шампанского давай, к цыганам едем!.. Ну, довольно, что это ты так опрокинулся?

КНЯЗЬ *(машинально дотрагиваясь до Библии)*. Всё это ревность, Парфён, всё это болезнь, всё это ты безмерно преувеличил.

РОГОЖИН *(отстраняя его руку)*. Оставь.

КНЯЗЬ *(машинально открывая Библию, беря в руки вложенный туда нож)*. Я хотел всё это здешнее забыть. Из сердца прочь вырвать. Уехать отсюда, может быть, навсегда. *(Только теперь, разглядев, что у него в руках; со страхом.)* Ты... ты листы, что ли им разрежешь?

РОГОЖИН. Да, листы...

КНЯЗЬ. Это ведь садовый нож?

РОГОЖИН. Да, садовый. Разве садовым нельзя разрезать листы?

КНЯЗЬ. Да он... совсем новый!

РОГОЖИН *(в исступлении)*. Ну что ж, что новый?

Разве я не могу сейчас купить новый нож?!

У вокзала появляются дачники: Генерал, Генеральша, Аглая, Поручик.

КНЯЗЬ (*видит их, опомнившись*). Извини меня, брат, когда у меня голова так тяжела, как теперь... я совсем становлюсь рассеянный... Я вовсе не о том хотел спросить...

РОГОЖИН. Прощай, князь. (*Исчезает.*)

ГЕНЕРАЛЬША. А, князь! Надолго ли к нам?

КНЯЗЬ. На всё лето и, может быть, дольше.

ГЕНЕРАЛЬША (*отводя его в сторону*). Подойди. Позволь тебя спросить: изволил ты прислать к Аглае письмо?

КНЯЗЬ. П-писал.

ГЕНЕРАЛЬША. С какою же целью? Что было в письме?

КНЯЗЬ. У меня нет письма. Если есть и цело ещё, то у Аглаи Ивановны.

ГЕНЕРАЛЬША. Не финти. О чём писал?

КНЯЗЬ. Я не финчу и ничего не боюсь. Я не вижу никакой причины, почему мне не писать...

ГЕНЕРАЛЬША. Молчи. Потом будешь говорить. Что было в письме? Почему покраснел?

КНЯЗЬ. Я не боюсь за письмо, и не жалею, что написал... И отнюдь не краснею... Я вам скажу... прочту... Я писал, что благодарен Аглае Ивановне за доверенность. И что у меня вдруг явилось неудержимое желание именно ей о себе напомнить. И что она нужна мне. И что мне ужасно желалось бы, чтобы она была счастлива. И я спрашивал — счастлива ли она? И подписался

братом.

ГЕНЕРАЛЬША. Экая галиматья. Что же вздор сей может означать по-твоему?

КНЯЗЬ. Сам не знаю вполне. Знаю только, что моё чувство было искреннее. Когда писал, у меня такая минута была — минута полной жизни и чрезвычайных надежд.

ГЕНЕРАЛЬША. Каких таких надежд?

КНЯЗЬ. Трудно объяснить, только не тех, что вы теперь думаете... Надежд будущего и радости о том, что я, может быть, у вас не чужой. Не иностранец. Мне очень вдруг на родине понравилось.

ГЕНЕРАЛЬША. Влюблен ты, что ли?

КНЯЗЬ. Н-нет... я... я как к сестре писал...

ГЕНЕРАЛЬША. Нарочно. Понимаю.

КНЯЗЬ. Мне очень тяжело отвечать вам на вопросы.

ГЕНЕРАЛЬША. Да мне-то дела никакого нет до того, что тебе тяжело. Отвечай мне правду, как пред Богом: лжёшь ты мне?

КНЯЗЬ. Не лгу.

ГЕНЕРАЛЬША. Верно говоришь, что не влюблен?

КНЯЗЬ. Кажется, совершенно верно.

ГЕНЕРАЛЬША. Ишь ты, кажется ему. А что такое «рыцарь бедный»?

КНЯЗЬ. Сам не знаю. Это без меня, шутка какая-нибудь.

ГЕНЕРАЛЬША. Стихи?

КНЯЗЬ. Стихи.

ГЕНЕРАЛЬША. Чьи?

КНЯЗЬ. Есть одно странное стихотворение русское...

у Пушкина Отрывок без начала и конца...

ГЕНЕРАЛЬША. С вами ещё и не такой дурой сделаешься, ослом каким-то сидишь. Как вернусь домой, прикажу подать мне этого Пушкина. Только неужели я она могла заинтересоваться тобой? (*Отступает и оглядывает князя*). Сама же тебя «уродиком» называла.

КНЯЗЬ. Это бы могли бы мне и не пересказывать.

ГЕНЕРАЛЬША. Не сердись. Девка самовластная, девка сумасшедшая, избалованная. Полюбит, так непременно бранить вслух будет и в глаза издеваться; я точно такая была... Слушай, поклянись, что ты не лжешь. Ты на этой...

КНЯЗЬ. Что вы, помилуйте.

ГЕНЕРАЛЬША. Да ведь чуть было не женился?

КНЯЗЬ (*шепотом*). Чуть было не женился.

ГЕНЕРАЛЬША. Есть ли у тебя что-нибудь святое на свете?

КНЯЗЬ. Есть.

ГЕНЕРАЛЬША. Поклянись, что ты не для того здесь, чтобы жениться на этой.

КНЯЗЬ. Клянусь чем хотите.

ГЕНЕРАЛЬША. Верю; поцелуй меня... Теперь вот что: я тебя с-нетерпением ждала. Нет при мне никого, кроме старухи княгини Белоконской, да и та улетела; да вдобавок глупа, как баран, стала от старости. Теперь отвечай: да или нет — зачем она третьего дня из коляски генералу про жемчуг кричала?

КНЯЗЬ. Я тут не участвовал, честное слово.

ГЕНЕРАЛЬША. Довольно, верю. Не могу не согласиться: до очевидности, что над ним как над дураком насмеялись почему-то, зачем-то, для чего-то. И уж одно

это подозрительно, да и неблагоприятно. Видишь, что я тебе доверяю?

КНЯЗЬ. Вижу. И понимаю.

ГЕНЕРАЛЬША. А знаешь ты, что Аглая с Настасьей Филипповной в отношениях состоит?

КНЯЗЬ. Кто?!

ГЕНЕРАЛЬША. Аглая.

КНЯЗЬ. Не верю! Не может быть! С какой же целью?

ГЕНЕРАЛЬША. И я не верю, хоть есть улики. Письмо анонимное. Девка своевольная, девка фантастическая, девка сумасшедшая! Девка злая, злая, злая! Тысячу лет буду утверждать, что злая! Но не верю! Может быть, потому, что не хочу верить. Почему ты три дня не приходил?

КНЯЗЬ. Мне запрещено.

ГЕНЕРАЛЬША (*криком*). Кто запрещал тебе?

КНЯЗЬ. Аглая Ивановна.

ГЕНЕРАЛЬША. Сейчас! Иди! Нарочно сейчас, сию минуту! (*Подталкивает Князя к беседующей группе, где ПОРУЧИК ухаживает за АГЛАЕЙ.*)

ГЕНЕРАЛ. Моё почтение, князь. А мы тут про либерализм говорим. Я лично ничего против либерализма не имею, либерализм наш не есть грех. Да вы знакомы ли?

КНЯЗЬ и ПОРУЧИК раскланиваются, пожимают друг другу руки.

Но я на русский либерализм нападаю. За то, собственно, что русский либерал не есть русский либерал, но именно что не русский либерал. Дайте мне русского ли-

берала — я его сейчас же при вас расцелую.

АГЛАЯ. Если он только захочет вас целовать.

Все смеются.

ГЕНЕРАЛЬША. Ведь вот, то не растолкаешь, о то поднимется и заговорит так, что только руками разведёшь.

ГЕНЕРАЛ. Что, не согласны, князь?

КНЯЗЬ. Я и не знаю, согласен или не согласен, но слушаю вас с чрезвычайным удовольствием.

ГЕНЕРАЛ. Либерализм есть, вообще говоря, нападение на существующие порядки вещей. Но русский — русский либерализм есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, не на русские порядки, а на саму Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает саму Россию, ненавидит и бьёт свою мать! И эту ненависть к России ещё не так давно иные либералы принимали чуть не за любовь к отечеству...

ПОРУЧИК. Я принимаю всё, что вы сейчас сказали, за шутку, ваше превосходительство?

АГЛАЯ. Я, папа, всех либералов не видала, но с негодованием вашу мысль выслушала. А что вы думаете, князь?

КНЯЗЬ. Я тоже мало видел и мало был... с либералами, но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы и что тот русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Россию, а не одни только порядки... Конечно, это только отчасти... не может быть для всех справедливо...

Все снова смеются.

АГЛАЯ. Да неужто вы не видите, что он ловит вас, князь?

КНЯЗЬ. Я жил за границей, но я много русских книг прочёл. И есть такие идеи, такие высокие идеи, о которых, быть может, я не должен начинать говорить, потому что непременно всех насмешу... Мне однажды очень странную мысль высказали, что я — совершенный ребёнок, то есть вполне ребёнок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что душою, характером и, быть может, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хоть бы до шестидесяти лет прожил... Я, когда ехал, и не думал, что здесь меня сочтут за ребёнка.

АГЛАЯ. Да для чего вы это говорите! Вы честнее, вы благороднее всех, лучше всех, умнее... Зачем в вас гордости нет?

ГЕНЕРАЛЬША. Господи! Можно ли было подумать?

АГЛАЯ (*Генеральше*). Молчите! Как смеете вы меня обижать! Зачем они, князь, как вы в Павловске появились, пристают ко мне из-за вас? Я ни за что за вас не выйду замуж! Знайте это! Зачем, зачем они меня дразнят, что я за вас пойду. Вы тоже в заговоре с ними!

ГЕНЕРАЛЬША. На уме ни у кого не было, кто её дразнил? Бредит она, что ли?

АГЛАЯ. Все говорили, все, все до одного!

ГЕНЕРАЛЬША. Да он тебя ещё и не...

КНЯЗЬ. Я вас не просил, Аглая Ивановна.

ГЕНЕРАЛЬША. Что-о? что та-а-кое?

КНЯЗЬ. Я хотел сказать... хотел сказать... я только хотел изъяснить, что вовсе не имел намерения... иметь честь... просить её руки. И я тут не виноват... я тут ни в

чём не виноват, ей-богу. Я никогда не хотел... у меня никогда в уме не было. И никогда не захочу, вы сами увидите. Будьте уверены! Будьте спокойны! Тут какой-то злой человек оклеветал меня...

После общей растерянности, сначала АГЛАЯ, потом остальные принимают хохотать.

ГЕНЕРАЛЬША (*отирая платком слёзы от смеха*). Ну, слава Богу, слава Богу!

АГЛАЯ. Идите, идите гулять. На музыку пойдите. А князь со мною побудет, можно это, маман? Побудемте тет-а-тет, отказавший мне жених? Ведь вы от меня уж навек отказались, князь! Да не так, не так подают руку даме.

ГЕНЕРАЛЬША. Слава Богу, слава Богу! (*Увлекает всех в вокзал.*)

АГЛАЯ. Видите вы эту семейку? Зеленую? Нравится вам месторасположение? Я иногда сюда одна прихожу сидеть... Что вы так на меня смотрите? Я вас боюсь. Мне всё кажется, что вы хотите протянуть вашу руку и дотронуться до моего лица пальцем. Чтоб его пощупать... Зачем вы на музыку пришли?

КНЯЗЬ. Не знаю... так.

АГЛАЯ. Понимаю.... А, впрочем, ничего и знать не хочу. Не перебивайте меня! Так вот в чём дело, для чего я говорить с вами хотела: я хочу вам сделать предложение быть моим другом. Что вы на меня снова уставились? Вы, может быть, не хотите принять предложение?

КНЯЗЬ. О, нет, я хочу, только это совсем не нужно... то есть я никак не думал...

АГЛАЯ. А что же вы думали? Что у вас на уме? Вы,

может быть, считаете меня маленькой дурую, как дома считают?

КНЯЗЬ. Я не знал, что вас считают дурую... я не считаю.

АГЛАЯ. Очень умно с вашей стороны. Особенно умно высказано. Но слушайте главное: я долго думала и наконец вас выбрала. Я не хочу, чтобы надо мной дома смеялись. Я не хочу, чтобы меня считали за маленькую дуру; я не хочу, чтобы меня дразнили... Я хочу... я хочу — бежать из дому! А вас выбрала, чтобы вы мне способствовали.

КНЯЗЬ. Бежать из дому!

АГЛАЯ. Да, да, да, именно бежать! Я не хочу, не хочу, чтобы меня заставляли вечно краснеть. Я хочу быть смелою и ничего не бояться. Я уж давно хотела уйти. Я двадцать лет здесь как закупорена. Я ещё с четырнадцати лет думала бежать, хоть и дура была. Теперь я уже всё рассчитала и вас ждала, чтобы все расспросить о загранице. Я ни одного собора готического не видала, я хочу в Риме быть, я хочу все кабинеты ученые осмотреть, я хочу в Париже учиться; я весь последний год готовилась и очень много книг прочла; я все запрещенные книги прочла. А ведь за мной надзор... Скажите, вы очень ученый человек?

КНЯЗЬ. О, совсем нет.

АГЛАЯ. Это жаль. А я думала... Вы все-таки меня будете руководить, потому что я выбрала.

КНЯЗЬ. Это нелепо, Аглая.

АГЛАЯ. Я хочу! Я хочу бежать! А если нет — то выйду замуж за Гаврилу Ардальоновича, жениха-то бывшего Настасьи Филипповны — он сватается.

КНЯЗЬ. В уме ли вы!

АГЛАЯ. Я замечаю, что вы тоже, кажется, надо мной смеётесь. Я убеждена, что вы приехали сюда в полной уверенности, что я в вас влюблена...

КНЯЗЬ. Я действительно боялся этого.

АГЛАЯ. Как! Вы боялись, что я... вы смели думать, что я... И смели мне любовное письмо прислать?!

КНЯЗЬ. Мое письмо — любовное? Это самое почтительное письмо. Это письмо у меня из сердца вылилось... Я тогда себя на родине своим почувствовал.

АГЛАЯ. Ну, хорошо. Я очень глупое выражение употребила. Это я так... чтобы вас испытать. Но скажите, вы это письмо писали когда?..

КНЯЗЬ. Когда?

АГЛАЯ. Когда вы жили в одних комнатах, целый месяц, с этой мерзкою женщиной? Я вас совсем не люблю. Я люблю Гаврилу Ардальоновича.

КНЯЗЬ. Это неправда.

АГЛАЯ. Я ему слово дала, на этой самой скамейке.

КНЯЗЬ. Это неправда. Это вы всё выдумали.

АГЛАЯ. Удивительно вежливо. Знайте, что он исправился. И деньги эти мерзкие все до копейки отдал, как только поправился. Он ведь заболел тогда.

КНЯЗЬ. Я знаю.

АГЛАЯ. Он честный человек. Он предо мною сжёг свою руку, чтобы только доказать, что любит меня больше жизни.

КНЯЗЬ. Сжёг свою руку?

АГЛАЯ. Ну и не верьте, мне всё равно.

КНЯЗЬ. Что ж, он приносил с собою свечку?

АГЛАЯ. Да, свечку.

КНЯЗЬ. Целую или в подсвечнике?

АГЛАЯ. Да... нет... половину свечи... огарок. И спички, если хотите, принёс. (*Прыскает со смеху.*) А знаете, знаете, для чего я сейчас солгала? Потому что, если лжёшь, да ловко вставишь что-нибудь не совсем обыкновенное, что-нибудь эксцентричное, то ложь становится гораздо вероятнее.... Потому что я знаю, что вы полгода назад при всех предложили ей вашу руку! Потом она убежала от вас к Рогожину, потом снова к вам, потом опять к Рогожину воротилась, потому что он любит её как... как сумасшедший. Потом вы тоже очень умный человек, прискакали за ней сюда... Видите, я всё знаю.

КНЯЗЬ. Да за ней. Чтобы только узнать... Я не верю в её счастье с Рогожиным, хотя... одним словом, я не знаю, что мог он для неё сделать...

АГЛАЯ. Если приехали, не зная зачем, стало быть, очень уж любите.

КНЯЗЬ. Нет, нет, не люблю. О, если бы вы знали, с каким ужасом я вспоминаю то время, что провёл с нею?.. О, я любил её, о, очень любил, но потом... потом... она всё угадала.

АГЛАЯ. Что угадала?

КНЯЗЬ. Что мне только жаль её, а что я... уже не люблю её.

АГЛАЯ. А вы знаете, что она почти каждый день пишет ко мне письма?

КНЯЗЬ. Стало быть, это правда!

АГЛАЯ. От кого вы слышали?

КНЯЗЬ. Ваша матушка мне сказала. Но она сама не верит. И я не поверю.

АГЛАЯ. А хотите узнать, о чем написано в этих письмах?

КНЯЗЬ (*про себя*). Впрочем, и этому не удивлюсь; она безумная.

АГЛАЯ. Уж не плачете ли вы?

КНЯЗЬ. Нет Аглая, я не плачу.

АГЛАЯ. Что же мне делать? Не могу же я получать эти письма!

КНЯЗЬ. О, оставьте её, умоляю вас! Что вам делать в этом мраке! Бог видит, чтобы возратить ей спокойствие и сделать её счастливою, я отдал бы жизнь мою, но... но я уже не могу любить её. И она это знает. Но не позорьте её, не бросайте камни!

АГЛАЯ. Так пожертвуйте собой, это же так к вам идёт! И не говорите мне «Аглая». Вы дважды уже сказали просто «Аглая». Вы должны, вы обязаны воскресить её, вы должны уехать с ней опять, чтоб умилять и успокаивать её сердце. Да ведь вы и любите её! Как вы побледнели! Стало быть, вы приехали для неё!

Одновременно появляются две группы: ГЕНЕРАЛ, ГЕНЕРАЛЬША и ПОРУЧИК; НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА в сером богатом платье с кружевами, более пышном, чем следовало бы, ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, ЧИНОВНИК.

КНЯЗЬ (*видя Настасью Филипповну*). Да, для неё.

АГЛАЯ. Что с вами? (*Оглянувшись и увидев тоже.*)
Какая!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*громко*). Ба, генерал?? То ни с какими курьерами не отыщешь, а то как ни в чем не бывало сидит, где и не вообразить! И жемчуг-то отослать некуда.

ГЕНЕРАЛ поспешно отворачивается.

А ведь не знаете, ваше превосходительство, что Капитон-то Алексеевич застрелился! Казённых трёхсот пятидесяти тысяч, говорят, нет. А другие утверждают — пятисот! Всё просвистал — развратнейший был старикашка. Ну, прощайте, бон шанс. Вам бы тоже в какую историю не попасть...

ПОРУЧИК (*видя отчаяние генеральского семейства*). Тут просто хлыст надо, иначе не возьмёшь с этой тварью!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА, мигом обернувшись, наотмашь бьёт поручика по лицу.

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. А-ах!

ЧИНОВНИК хохочет. ПОРУЧИК замахивается на НАСТАСЬЮ ФИЛИППОВНУ, но КНЯЗЬ перехватывает его руку. Появляется РОГОЖИН.

РОГОЖИН (*Поручику*). Тю! Взял! Рожа-то в крови. Тю!

ПОРУЧИК (*закрывая платком лицо*). Князь, я только сегодня имел удовольствие с вами познакомиться...

КНЯЗЬ. Она сумасшедшая! Помешанная! Уверяю вас!

ПОРУЧИК. Я, конечно, не могу похвалиться такими сведениями, но мне надо знать ваше полное имя. (*Кивает, уходит.*)

АГЛАЯ (*которую увлекает прочь Генеральша*).

Мне только хотелось посмотреть, чем закончится комедия. *(Уходит с Генеральшей.)*

ГЕНЕРАЛ *(Князю)*. Странные вы все какие-то люди стали. Со всех сторон. Жена в истерике, сейчас будет говорить, что нас осрамили и опозорили. Кто? Как? С кем? Я, признаюсь, виноват, много виноват, в этом я сознаюсь, но домогательства этой... беспокойной женщины, и дурно ведущей себя вдобавок, могут быть ограничены, наконец, полицией, и я сегодня же намерен кое с кем увидеться и предупредить. Всё можно устроить тихо, кротко, ласково даже, по знакомству и отнюдь без скандала...

КНЯЗЬ. Она помешанная.

ГЕНЕРАЛ. Меня тоже такая же идея посещала отчасти, и я засыпал спокойно. Но я не верю помешательству. Женщина вздорная, положим, но при этом даже тонкая... Тьфу, даже и теперь ноги-руки дрожат... А ведь Капитон-то Алексеевич Радомский, правда, застрелился утром на рассвете, в семь часов. И точь-в-точь как она говорила — казенная сумма, знатная сумма. Старикашка был повадливый...

КНЯЗЬ. Откуда ж она?..

ГЕНЕРАЛ. Да ведь кругом неё — штаб *(Показывает на Чиновника, тот кланяется.)* Нет, это не выражает сумасшествия... Но главное, эти семейные дразги, эти катастрофы, даже не знаешь, как и назвать. А всё потому, что у нас нынче семейства всё больше случайнее... *(Уходит сокрушенный.)*

ЧИНОВНИК. Моё почтение, князь. Я вас ожидаю.

КНЯЗЬ. А вы разве не с Рогожиным?

ЧИНОВНИК. Прогнал меня Рогожин. Как есть, всю

компанию разогнал... Хочу только сказать, что я — к вашим услугам. Готов жертвовать и даже умереть, если понадобится.

КНЯЗЬ. Да... зачем?

ЧИНОВНИК. Ну, наверное, последует вызов. Этот поручик, я его знаю — не перенесёт оскорбления. Нашего брата, то есть меня и Рогожина, он готов почесть за шваль, и, может быть, заслуженно, таким образом, в ответе только вы и находитесь. Он про вас осведомлялся, я слышал.

КНЯЗЬ. Так вы — про дуэль? *(Хохочет.)*

ЧИНОВНИК *(в удивлении)*. Вы, однако ж, князь, его давеча за руку схватили. Благородному лицу и при публике это трудно перенести.

КНЯЗЬ. А он меня в грудь толкнул. Не за что нам драться. Я у него прощения попрошу, вот и все. А коли драться, так драться. Пусть стреляет. Я даже хочу. Ха-ха! Я умею пистолет заряжать. Надо прежде пороху купить пистолетного, не мокрого и не такого крупного, которым из пушек палят. А потом сначала пороху положить, войлоку откуда-нибудь из двери достать, и потом уже пулю вкатить, а пулю прежде пороха, потому что не выстрелит. Ха-ха!

ЧИНОВНИК. Вы, никак, в лихорадке. Ну, конечно, вы человек нервный... И опять же дамы.

КНЯЗЬ *(приходя в себя)*. О ком вы?

ЧИНОВНИК. Об Настасье Филипповне. И об этой, генеральской дочке.

КНЯЗЬ. А что она тебе?

ЧИНОВНИК. Беспокойна, насмешлива, вскидчива. Последний раз пришлось её Апокалипсисом отчиты-

вать.

КНЯЗЬ. Как так?

ЧИНОВНИК. Вы слышали о звезде Полюнь, благороднейший князь?

КНЯЗЬ. Смутно.

ЧИНОВНИК. То-то. А звезда Полюнь эта — ни что иное, как сеть железных дорог, распространившихся по Европе! Да и не только в железных дорогах дело, собственно одни железные дороги не заму́тят источников жизни. А всё в целом-с проклято; всё это настроение последнего века в его общем целом, научном и практическом. Как вы думаете, Князь, есть ли Бог?

КНЯЗЬ. Так легко спрашиваете?

ЧИНОВНИК. Если б вы знали, как я этим мучаюсь, но всё откладываю решение, дела мешают, а на всякий случай молюсь... Я всех вызываю теперь, всех атеистов — чем вы спасёте мир и нормальную дорогу в чём отыскали? Кредитом? А что такое кредит? К чему приведёт нас кредит?

КНЯЗЬ (*задумчиво*). Вот опять у нас смертной казни нет.

ЧИНОВНИК. А там — казнят? Вешают?

КНЯЗЬ. Нет, там всю больше головы рубят.

ЧИНОВНИК. Только все русские силы даром к себе переводят... У вас деньги есть?

КНЯЗЬ. Немного. Рублей двадцать пять.

ЧИНОВНИК. Покажите. (*Рассматривает.*) Отчего бы им буреть?.. Хочу вас предупредить, князь, денег мне займы не давайте, потому что я непременно, как вас встречу, буду просить. Если бы вы знали, как в настоящий век трудно денег достать. А я в некотором

смысле — либерал, то есть насчет кармана-с; в остальном же с наклонностями, так сказать, более древнерыцарскими, чем либеральными.

КНЯЗЬ. Коли нужда...

ЧИНОВНИК. И её одно хотелось бы вам сказать, дорогой и многоуважаемый князь. Вы про то дело не знаете, но кто уведомлял генеральшу, даже в глубочайшем секрете-с, кто отписывал ей про все отношения и про движения известного персонажа, а именно Настасьи Филипповны, хе-хе? Кто, кто сей аноним, позвольте спросить?

КНЯЗЬ. Неужто вы?!

ЧИНОВНИК. Именно! Именно я, блаженнейший князь, извещал благороднейшую мать обо всех приключениях значительнейших запиской с заднего крыльца, через девушку-с. И подписался: ваш тайный корреспондент. Но теперь — опять ваш, весь ваш, с головы до сердца, слуга-с после мимолетной, измены-с! Казните сердце, пощадите бороду, так сказал Томас Морус в Англии и в Великобритании-с. Меа кульпа, как говорит римская папа... то есть он, римский папа, но я его называю «римская папа».

КНЯЗЬ. А ведь нельзя было никому говорить... Впрочем, для неё все равно...

ЧИНОВНИК. Да, без сомнения, всё равно. Мы не масоны.

КНЯЗЬ. Да что у вас за повадка так... странно поступать? Ведь вы... просто шпион. Почему писали анонимно и тревожили такую благороднейшую и добрейшую женщину?

ЧИНОВНИК. Единственно из приятного любопытства.

И из услужливости благородной души. Теперь же весь ваш, весь опять. Хоть повесьте... (*Видит Рогожина.*) Утаил от премудрых и разумных, но открыл еси то младенцам! Уходу, ухажу... (*Пятится.*) Помните же, князь, про звезду Полынь! (*Уходит.*)

РОГОЖИН. Так и знал, что ты ещё здесь, недолго и проискал. Теперь я к тебе от неё. Говорить с тобой хочет, сегодня же. Я тебе всё сказал; прощай.

КНЯЗЬ. Подожди! У тебя всё еще злоба на меня теперь. Но сам знаешь, что всё, что ты думал, неправда. А злоба, знаешь, почему? Потому что ты на меня посягнуть хотел, от того и злоба твоя не проходит. Но я всё это за один только бред почитаю. То, что ты вообразил, не существовало и не могло существовать. Для чего же наша злоба будет существовать?

РОГОЖИН. Какая злоба-то! Я тебя не люблю, князь, вот что. Э, князь, ты точно ребёнок какой, захотелось игрушки — вынь да положи, а дела не понимаешь.

КНЯЗЬ. Я только вот что, Парфён, тебе скажу: знаешь ли ты, что она тебя теперь, может, больше всех любит, и так даже, что чем больше мучает, тем больше и любит. Она того не скажет тебе, но надо видеть уметь. Твой характер и твоя любовь должны её поразить! Знаешь ли, что женщина способна замучить жестокостями и насмешками и ни разу угрызения совести не почувствует, потому что про себя каждый раз думает: вот теперь я его измучаю до смерти, да зато потом ему любовью моей наверстаю.

РОГОЖИН (*захохотав*). Да что, князь, ты и сам как-нибудь к этакой попал? Я кое-что слышал про тебя, если правда?

КНЯЗЬ. Что, что ты мог слышать?

РОГОЖИН. Да и сам теперь вижу, что — правда.

КНЯЗЬ. Я тебя не совсем понимаю.

РОГОЖИН. Она-то давно ещё мне про тебя разъясняла, а теперь я и сам рассмотрел, как ты с тою на музыке был. Божилась мне и вчера, и сегодня, что ты в Аглаю, в генеральскую дочь, как кошка влюблён. Мне это, князь, всё равно, да и дело оно не моё: если ты её разлюбил, так она ещё не разлюбила тебя. Ты ведь знаешь, что она тебя с тою непременно повенчать хочет, слово такое дала. Говорит мне: без эфтого за тебя не пойду, они в церковь, и мы в церковь. Говорит: хочу его счастливым видеть.

КНЯЗЬ. Я говорил тебе, что она... не в своем уме.

РОГОЖИН. Господь знает! Это ты, может, и ошибся... она мне, впрочем, день сегодня назначила, как с музыки привел её: через три недели, а может, и раньше, наверное, говорит, под венец пойдём; поклялась, образ сняла, поцеловала. За тобой, стало быть, князь, теперь дело.

КНЯЗЬ. Это всё бред...

Неожиданно появляется НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА и опускается перед КНЯЗЕМ на колени.

Встань! встань! встань скорее!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Ты счастлив? Счастлив? Мне только одно слово скажи, счастлив ты теперь?.. Я еду завтра! В последний ведь раз тебя вижу! Теперь ведь совсем уж в последний раз!

КНЯЗЬ. Успокойся, встань!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. И к той писать больше не

буду, обещаю! И отсюда уеду! Прощай!

РОГОЖИН. Что ж ты ей в ответ ничего не скажешь?
Ты-то счастлив иль нет?

КНЯЗЬ. Нет, нет, нет!

Рогожин. Ещё бы сказал «да»! (*Собирается увести покорную Настасью Филипповну.*)

АГЛАЯ (*внезапно появляется, задыхаясь*). Мне этот чиновник сейчас сказал, что вы все здесь... собрались. (*Настасье Филипповне.*) Вы, конечно, знаете, зачем я сюда пришла?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Нет, ничего не знаю.

АГЛАЯ. Вы... вы всё понимаете, но вы нарочно делаете вид, будто не понимаете.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*спокойно*). Для чего бы это?

АГЛАЯ. Вы хотите воспользоваться моим положением... чтобы я сама с вами заговорила...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. В этом положении виноваты вы, а не я! Прибегали сюда неизвестно зачем?

АГЛАЯ. Удержите ваш язык! Я не этим оружием пришла с вами сражаться!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. А, стало быть, вы все-таки сражаться пришли? Представьте, я, однако ж, думала, что вы... остроумнее.

АГЛАЯ (*сдерживаясь*). Вы не так поняли. Я не хочу с вами... ссориться, хоть я вас и не люблю. Я пришла к вам с... с человеческой речью. Я уже давно решила, о чём буду с вами говорить, и от своего решения не отступлюсь, хоть бы вы и совсем меня не поняли. Тем для вас будет хуже, а не для меня. Я хотела ответить на то, что вы мне писали, и ответить лично, потому что мне это

казалось удобнее. Так вот, мне стало жалко князя в первый раз в тот самый день, когда я узнала всё, что произошло на вашем вечере. Он такой простодушный человек и по простоте своей поверил, что может быть счастлив... с женщиной... такого характера. Чего я боялась за него, то и случилось: вы не могли его полюбить, измучили его и кинули. Вы потому его не могли любить, что слишком горды... нет, не горды, вы тщеславны... вы самолюбивы до сумасшествия... Это подло даже — играть роль Магдалины... И когда я опять увидела князя, мне стало ужасно за него больно и обидно. Не смейтесь, если вы будете смеяться, то вы недостойны это понять...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*грустно и строго*). Вы видите, что я не смеюсь.

АГЛАЯ. Впрочем, всё равно, смейтесь, как вам угодно. Когда я стала спрашивать сама, он мне сказал, что давно уже вас не любит, что даже воспоминание о вас ему мучительно. Но что ему вас жаль... Я вам должна сказать ещё, что я ни одного человека не встречала в жизни подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Я догадалась после его слов, что всякий, кто захочет, тот и может его обмануть, и кто бы ни обманул его, он потом всякому простит, и вот за это-то я его и полюбила... Я всё сказала, и, уж конечно, вы поняли, чего я от вас хочу?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Может быть, и поняла. Но скажите сами.

АГЛАЯ. Я хотела узнать, по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву вы осмелились мне писать письма? По какому праву вы за-

являете поминутно, что его любите?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Я не заявляла ни ему, ни вам, что его люблю. И вы правы... я от него убежала.

АГЛАЯ. А письма-то ваши?! Кто вас просил нас сватать? Зачем вы к нам напрашиваетесь? Зачем вы просто не уехали отсюда? Зачем вы не выходите теперь за благородного человека, который вас так любит и сделал вам честь, предложив свою руку? Даже слишком уж много чести получите! Правильно говорят, что вы слишком много поэм прочли и слишком образованы для... вашего положения. Прибавьте, что вы белоручка, прибавьте ваше тщеславие — вот и все причины...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. А ты не белоручка?

АГЛАЯ. Как вы смеете так обращаться ко мне?

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Вы, вероятно, ослышались. И что вы знаете о моём положении, чтобы сметь судить меня. Вы так же меня поняли, как... горничная Дарьи Алексеевны, которая намеренно судилась у мирового со своим женихом. Та бы лучше вас поняла.

АГЛАЯ. Вероятно, честная девушка и живет своим трудом. Почему вы-то с презрением относитесь к горничным? Захотела быть честною, так в прачки бы шли!

КНЯЗЬ. Аглая, остановитесь. Ведь это несправедливо...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*злобно*). Вот, посмотрите на неё, на эту барышню! И я её за ангела почитала. Вас гувернантки избаловали. А хотите, я вам прямо скажу, зачем вы встречи со мной искали? Струсил, вот и искали.

АГЛАЯ. Вас струсила?!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Конечно! Меня боитесь,

а кого боишься — того и презираешь. А знаете, чего вы боитесь и в чём ваша главная цель? Вы хотели лично удостовериться, больше ли он меня, чем вас любит, потому что вы ужасно ревнуете...

АГЛАЯ (*подавленно*). Он мне уже сказал, что вас ненавидит.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Может быть, я и не стою его; только вы солгали, я думаю. Не может он меня ненавидеть, и не мог так сказать! Я, впрочем, готова вас простить... Во внимание к вашему положению... только всё-таки я о вас лучше думала; думала что вы и умнее, да и получше даже собой, ей-богу! Ну, возьмите уже ваше сокровище... Вот он, на вас глядит, опомниться не может, берите его себе, но под условием: ступайте сейчас же прочь! (*Заливается слезами.*) Нет, хочешь, я сейчас же прикажу, слышишь — прикажу ему, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда, женится на мне, а ты побежишь домой одна? Хочешь? хочешь? (*В исступлении.*) Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе крикну: «Уйди, Рогожин», а князю скажу: «Помнишь, что ты мне обещал?». Господи! Да для чего же я себя так унизила перед ними! Да не ты ли, князь, меня уверял, что пойдёшь за мною, что бы ни случилось, и никогда меня не покинешь? Что ты любишь меня, и всё мне прощаешь... Теперь, когда она меня опозорила, да ещё на твоих глазах, и ты от меня отвернёшься, а её под ручку поведешь? Да будь же ты проклят после того за то, что я в тебя одного поверила... Уйди, Рогожин, тебя не нужно! (*Аглае*) Вот он, смотри! Если сейчас он не подойдет ко

мне, не возьмёт меня и не бросит тебя, то бери же его себе, уступаю, мне его не надо!

Обе смотрят на князя.

КНЯЗЬ (с мольбой, Аглае). Разве это возможно! Ведь она... такая несчастная!

АГЛАЯ (закрывая лицо). Ах, боже мой! (Убегает.)

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (Князю, который было устремляется следом). За ней? За ней? (Падает, но Рогожин подхватывает её; очнувшись, бросается к Князю.) Мой! Мой! Ушла гордая барышня? Ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала! Да зачем? Для чего? Сумасшедшая!.. Поди прочь, Рогожин, ха-ха-ха!.. (В истерике.)

РОГОЖИН смотрит на них, исчезает. КНЯЗЬ обнимает НАСТАСЬЮ ФИЛИППОВНУ, утешает, гладит по голове, смеётся в ответ на её лепет. Уводит так, будто ведёт под венец... Появляются ГЕНЕРАЛЬША и ГЕНЕРАЛ.

ГЕНЕРАЛЬША. Нигилистка растёт, да и только! Где она? Куда побежала? Зачем только замуж не выходит? Чтоб мать мучить — в этом она цель своей жизни видит?

ГЕНЕРАЛ. Так ведь известно — мужа надо...

ГЕНЕРАЛЬША. Только дай ей бог не такого, как вы... А девка самовольная, эдакий скверный бесёнок. О Господи, как она будет несчастна! Поди, всё о Париже мечтает. И там, глядишь, выскочит замуж за какого-нибудь полячишку...

ГЕНЕРАЛ. Ну, может быть, за графа.

ГЕНЕРАЛЬША. За эмигранта за какого-нибудь, за афериста-вольнодумца. Граф ваш чуть что и окажется — вовсе не граф, а какая-нибудь фигура темная да двусмысленная. И там, гляди, и до католичества докатится. Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся заграница, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия... Помяните моё слово, сами увидите!

Оба уходят. На сцене — только пустые скамьи вокзала и пустые пюпитры.

Акт 3. СМЕРТЬ

Зала в купеческом доме, по стенам несколько картин, тёмных как образа, над дверью — ещё одна, узкая, и горизонтальная, изображающая только что снятого с креста Спасителя; на окнах — белые шторы, вход в другую комнату завешен шёлковой портьерой.

КНЯЗЬ (оглядываясь во все стороны). Настасья Филипповна разве у тебя?

РОГОЖИН. У меня.

КНЯЗЬ. А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел?

РОГОЖИН. Я. Про меня и дворник не знает теперь, что домой воротился. Я сказал давеча, что в Павловск еду, и у матушки тоже сказал. Ты сейчас вошёл, и не услышал никто. Ты как давеча ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты самый и есть; подошёл к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнутьевной разговариваешь, а я ух той чем свет заказал: если ты или от тебя кто, али кто бы то ни был начнёт ко мне стучать, так чтоб не сказываться ни под каким видом; а особенно если ты сам придёшь меня спрашивать, и имя твоё ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову, что если он теперь тут стоит и выглядывает али сторожит с улицы? Подошёл я к этому самому окну, отвернул гардину-то, глядь, а ты сам стоишь, прямо на меня смотришь... Вот так дало было.

КНЯЗЬ. Где же... Настасья Филипповна?

РОГОЖИН. Она... здесь.

КНЯЗЬ. Ты бы свечку зажёл.

РОГОЖИН. Нет, не надо. Садись, посидим пока! У

неё на квартире был?

КНЯЗЬ. Был. Там ни вчера, ни сегодня не слышали об Настасье Филипповне. Горничные на меня рты разинули. Видно ничего не знали про то, что в Павловске-то было. Я тотчас догадался, что им совершенно известно, кто я такой и что вчера должна была быть моя свадьба, и что она теперь должна была бы быть не иначе, как со мною вместе. И в её комнату провели. Там у отворенного окна ломберный столик стоял, исписанный мелом. Они мне сказали, что ещё до Павловска, когда она от тебя на дачу сбегала, ты с Настасьей Филипповной каждый вечер в карты играл.

РОГОЖИН. Верно.

КНЯЗЬ. И в дураки, и в преферанс, в мельники, в вист, в свои козыри — во все игры...

РОГОЖИН. Потому она всё жаловалась, что скучно. Что я говорить ни о чем не умею. И плакала часто. И я однажды вынул из кармана карты, и она засмеялась, и стали играть. (*Князь, отвлёкшись, вдруг посмотрел на картину над дверью.*) Эти все картины здесь — все за рубль да за два на аукционах куплены батюшкой покойным, он любил. Их один знающий человек всё здесь пересмотрел; дрянь, говорит, а вот эта — вот картина, над дверью, тоже за два целковых купленная, — говорит, не дрянь. Я за собой оставил.

КНЯЗЬ. Да это... это копия. Я эту картину в Швейцарии видел и забыть не могу.

РОГОЖИН. А что, князь, давно хотел тебя спросить, веруешь ли ты Бога или нет?

КНЯЗЬ. Как-то странно ты спрашиваешь и... глядишь!

РОГОЖИН. Я на эту картину люблю смотреть.

КНЯЗЬ. На эту картину! На эту картину! Да от этой картины у иного ещё вера мажет пропасть! Живописцы обыкновенно изображали Христа и на кресте, и снятого с креста с оттенком необыкновенной красоты на лице; и эту красоту искали сохранить даже при самых страшных муках. А это в полком виде труп человека, вынесшего бесконечные цуки. Оно ещё не успело закостенеть, на нём ещё проглядывает страдание, но оно не пощажено нисколько. И глаза блещут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском. Тут невольно приходит мысль, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их?

РОГОЖИН. Пропадает вера-то, верно.

КНЯЗЬ. Как? Да что ты? Ты так серьезно! И к чему ты меня спросил: верую ли я в Бога?

РОГОЖИН. Да ничего, так... А что, правда — ты за границей-то жил, что у нас, по России, больше, чем во всех землях, таких, что в Бога не веруют? Может, нам легче, чем им, потому что мы дальше их пошли?

КНЯЗЬ. Я тут ехал с одним очень учёным человеком по железной дороге. В Бога он не верует. Он хорошо и умно говорил, меня только одно поразило: он всё как будто не про то говорил... А вечером в гостинице, где я остановился, одно убийство случилось. Два крестьянина, в летах и не пьяные, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной комнате спать ложиться. Но один у другого подглядел часы серебряные. И ему до того понравились эти часы, что он не выдержал: взял нож, подошёл к приятелю осторожно сзади, наметился и глаза возвёл к небу. Перекрестился, проговорил про себя

горькую молитву — «Господи, прости ради Христа», зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы.

РОГОЖИН (*резко засмеявшись*). Вот это я люблю! Нет вот это лучше всего! Один совсем в Бога не верит, а другой до того уж верует, что и людей режет по молитве!

Появляется НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА, босая, в одной белой рубашке. Оба не замечают её.

Нет, этого, брат князь, не выдумаешь! Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего...

КНЯЗЬ. А наутро я вышел по городу побродить, вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат, а совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне: купи, барин, крест серебряный, всего за двугривенный отдаю! Вижу, в руке у него крест, должно, только что снял с себя, на голубой крепко заношенной ленточке, оловянный, большого размера, осьмиконечный. Я вынул двугривенный и отдал ему, а крест на себя надел. А солдат довольный, что барина ловко надул, отправился свои крест пропивать, уж это без сомнения.

РОГОЖИН (*мрачно*). И что?

КНЯЗЬ. Через час, возвращаясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребёнком. Баба ещё молодая, ребёнку недель шесть будет. Ребёнок ей и улыбнулся, по наблюдению её, в первый раз от своего рождения. Смотрю, она так набожно-набожно вдруг перекрестилась. Что ты, говорю, молодка? А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку приметит, такая же

точно бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник пред ним ото всего сердца на молитву становится...

РОГОЖИН. Так и сказала?

КНЯЗЬ (*с воодушевлением*). В том-то и дало — это мне простая русская баба сказала, почти этими же словами, и такую глубокую, такую тонкую и истинно христианскую мысль. Простая баба! Правда, мать, и кто знает, может эта баба женой тому же солдату была.

НАСТАСЬЯ ФЛИППОВНА. Я тоже часто о Христе думала. Как это он сам на Голгофу взошёл. Не так о Боге думала — как о человеке страдающем. Сам! В этом тайна!. Только на одну секундочку и усомнился, только один раз у всевышнего пощады попросил... Сам, я знаю! Пилат не виноват, толпа тёмная не виновата — всё сам!

РОГОЖИН. К чему ты это рассказал-то?

КНЯЗЬ. Это, Парфён, ответ тебе на твой вопрос — про Россию и про веру. Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и не под какие атеизмы не подходит! Тут что-то не то, и вечно будет не то. Но главное, что всего яснее и скорее — это на русском сердце заметить можно.

РОГОЖИН (*шёпотом*). Князь! А крест-то, что у солдата купил.

КНЯЗЬ. Поменяться крестами хочешь? Коли так, Парфён, я рад — побратаемся. (*Меняются крестами. Стоят в нерешительности. Показывая на один из портретов.*) Батюшка твой?

РОГОЖИН. Он, покойник.

КНЯЗЬ. Мне пришло на мысль, что если бы не было

с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, как твой отец бы стал. Засел бы в доме с редким и строгим словом да много что старые книги иногда похвалил...

РОГОЖИН. И вот точь-в-точь она это же самое говорила недавно, когда портрет моего отца разглядывала! У тебя, говорит, Парфён, сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу...

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА (*для них невидима*). Если б у тебя ума не было, Парфён. А у тебя большой ум есть. Ты всё это баловство теперешнее скоро бы бросил. Пожалуй, и в веру к скопцам под конец перешёл бы. Потому у тебя во всём страсть, всё до страсти доводишь.

РОГОЖИН (*озираясь*). Я всё это переменю здесь и отделаю, стены шёлком обтяну. А то и другой дом, пожалуй, и свадьбе куплю.

НАСТАСЬЯ ФЛИППОВНА. Ни-ни, ничего здесь не переменяй, так и будем жить.

КНЯЗЬ. Кто знает, может вас Бог и устроит вместе.

РОГОЖИН. Никогда не будет того... Помнишь, князь, я тебе рассказывал, как полторы сутки перед нею на коленях стоял?

КНЯЗЬ. Помню.

РОГОЖИН. А знаешь, что она мне потом, когда просила уже, сказала?

КНЯЗЬ. Что?

РОГОЖИН. Вдруг спрашивает: ты, Парфён, знаешь, кто такой папа римский? Слыхал, говорю. Так вот, говорит, был один такой папа и очень на императора одного германского рассердился. И вот у него три дня не пивши, не евши, босой на коленках перед дворцом просто-

ял, пока тот ему не простил. Как думаешь, Парфён, о чём тот император в эти-то три дня, на коленках стоя, про себя передумал и какие зарок давал?

КНЯЗЬ (*со страхом*). Так и спросила?

РОГОЖИН. Именно так. И книжку со стихами принесла. И прочитала, будто бы все три дня император этот германский только и заклинал, как потом тому папе отомстить. А потом и говорит: я за тебя пойду, Парфён, и не потому, что боюсь тебя, а всё равно погибать-то.

КНЯЗЬ (*в волнении*). Я так и думал! Эта несчастная глубоко убеждена, что она самое павшее, самое порочное существо на всём свете. И сама себе погибели ищет. Но чем она виновата!

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. А подчас я думала — вымолвить страшно, ведь грех, гордыня, — а я смогла бы? Сама — и ни крест! Но ведь Его-то предали, а здесь — только страсть да жалость, только жалость да страсть...

КНЯЗЬ (*горячо*). О, она поминутно в исступлении кричит, что не признаёт за собой вины, что она — жертва людей, жертва развратника и злодея, но что бы она ни говорила — она всю свою совесть верит, что она — сама виновата.

РОГОЖИН. Я, говорит, известно какая.

КНЯЗЬ. Она и в этот раз бежала от меня потому, что ей непременно внутренне хотелось сделать позорное дело, чтобы самой себе сказать: вот ты сделала новый позор, стало быть, ты низкая тварь... Но иногда она как бы опять видела вокруг себя свет.

РОГОЖИН. Я, говорит, рогожинская.

НАСТАСЬ ФИЛИППОВНА. Дом мрачный, скучный, и в нём тайна. А он всё молчит. Но ведь я знаю, что он до того меня любит, что уж не мог не возненавидеть меня.

КНЯЗЬ (*вдруг*). Рогожин! Где Настасья Филипповна?

РОГОЖИН (*шёпотом, показывая за портьеру*). Там.

КНЯЗЬ (*тоже шёпотом*). Спит?

РОГОЖИН (*помолчав*). Аль уж пойдём?.. Только ты... ну, да пойдём.

Оба подходят к портьеру.

КНЯЗЬ. Тут темно.

РОГОЖИН. Видать!

КНЯЗЬ. Я чуть вижу... кровать.

РОГОЖИН. Подойди ближе-то.

КНЯЗЬ входит и исчезает. НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА за спиной РОГОЖИНА. Из-под правой руки, которую она держит под левой грудью, на рубашке проступает кровь.

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА. Бог знает теперь, кто вместо меня живёт во мне. Я ведь уже почти не существую со всеми своими кружевами и бриллиантами, и знаю это...

РОГОЖИН. Выйдем. Ты вот, я замечаю, Князь, дрожишь... Ты крепись, князь.

КНЯЗЬ. Это ты?

РОГОЖИН. Это... я... Только чтоб не догадались с улицы али со двора, что в квартире ночуют люди. Станут стучать, войдут... потому что они думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажёл, чтобы с улицы аль со двора не

догадались. Потому, когда меня нет, я и ключи уношу, и никто без меня по три, по четыре дня и прибираться не входит, таково мое заведение. Так вот, чтоб не узнали, что мы заночуем.

КНЯЗЬ. Постой, я давеча дворника спрашивал и старушку спрашивал, не ночевала ли Настасья Филипповна? Они, стало быть, уже знают.

РОГОЖИН. Знаю, что спрашивал. Я Пафнутьевне сказал, что вчера заехала Настасья Филипповна и вчера же в Павловск уехала, а что у меня десять минут побыла. И не знают они, что она ночевала, — никто. Вчера мы так же вошли, совсем потихоньку, как сегодня с тобой. Я ещё про себя подумал, что она не захочет потихоньку входить, — куды! Шепчет, на цыпочках прошла, платье обобрала вокруг себя, чтобы не шумело, в руках несёт, мне сама на лестнице пальцем грозит. Это она тебя всё пужалась. На машине, как из церкви-то бежала от тебя, когда в коляску я её подхватил, на чугушке — совсем как сумасшедшая была, все со страху, и сама ко мне пожелала ночевать. У меня, говорит, он чем свет разыщет, а ты меня скроешь.

КНЯЗЬ. Постой! Что же ты теперь, Парфён, как же хочешь?

РОГОЖИН. Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты всё дрожишь. Ночь мы здесь заночуем вместе. Постели, окромя той, на которой она лежит, тут нет, и я придумал, что с диванов подушки снять, и вот тут рядом у занавески и постелю. И тебе и мне, так чтоб вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать али искать, её тотчас увидят и вынесут. Станут меня опрашивать, я расскажу, что — я, и меня тотчас отведут. Так пусть уж она теперь

тут лежит, подле нас, подле тебя и меня...

КНЯЗЬ *(с жаром)*. Да, да!

РОГОДЖИН. Значит, не признаваться и выносить не давать.

КНЯЗЬ. Н-ни за что! Ни-ни-ни!

РОГОЖИН. Так я и порешил, чтоб ни за что и никому не отдавать! Ночью попробуем тихо. Я сегодня только на час из дому вышел поутру, и то всё при ней был. Боюсь вот тоже ещё, что душно и дух пойдёт. Слышишь ли дух или нет?

КНЯЗЬ. Может, слышу, не знаю. К утру, наверное, пойдёт.

РОГОЖИН. Я её клеёнкой накрыл. Хорошею американской клеёнкой, а сверх клеёнки уж простынёй, и четыре склянки ждановской жидкости откупоренной поставил, там и теперь стоят. Потому, брат, дух. А она ведь как лежит... К утру, как посветлеет, посмотри. Что ты, и встать не можешь?

КНЯЗЬ. Ноги нейдут. Это от страху, это я знаю... Пройдёт страх, и я встану.

РОГОЖИН. Постой же, я пока нам постель постелю. И пусть уж ты ляжешь... и я с тобой... и будем слушать... потому я ещё всего не знаю теперь, так и тебе заранее говорю, чтобы ты всё про это заранее знал... *(Таскает подушки, устраивает постель.)*

КНЯЗЬ. Что это ты бормочешь такое неясное?

РОГОЖИН. Потому оно, брат, ноне жарко и, известно, дух... Окна я отворять боюсь; а есть внизу горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух; думал перенести, да Пафнутьевна догадается, потому что она любопытная.

КНЯЗЬ. Она любопытная.

РОГОЖИН. Купить разве букетами и цветами всю обложить? Да, думаю, жалко будет, друг, в цветах-то! Точно невеста! (*Шёпотом.*) Без тебя один не мог я здесь быть...

КНЯЗЬ. Слушай?

РОГОЖИН. А?

КНЯЗЬ. Я вот что-то тебя спросить хотел?

РОГОЖИН. Спроси.

КНЯЗЬ. Слушай, скажи мне, чем ты её? Ножом?

РОГОЖИН. Ножом.

КНЯЗЬ. Тем самым?

РОГОЖИН. Тем самым.

КНЯЗЬ. Стой, ещё! Я, Парфён, ещё хочу тебя спросить... Я много буду тебя спрашивать обо всем... Но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал: хотел ты убить её вчера утром перед моей свадьбой, перед венцом, на паперти ножом?

РОГОЖИН. Не знаю.

КНЯЗЬ. Хотел или нет?

РОГОЖИН. Не знаю, хотел или нет?

КНЯЗЬ. Ты нож-то с собою брал?

РОГОЖИН. Не брал. Я про нож этот только вот что могу сказать, князь. Я его из запертого ящика утром достал ноне, потому что всё дело было утром, в четвёртом часу. Он ведь у меня всё так в книге лежал заложен... И вот ещё что мне чудно: совсем нож как бы на полтора... али даже на два вершка прошёл... под самую левую грудь... а крови всего этак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло; больше не было...

КНЯЗЬ. Это, это, это... я знаю. Это я читал... это внут-

реннее излияние называется... Бывает, что даже и ни капли. Это коль удар прямо в сердце.

РОГОЖИН. Как я подошёл колоть к рассвету, она не спала. Чёрный глаз смотрит. А я до того всё по зале ходил — ждал, чтоб заснула, во сне, думаю, и не услышит ничего. И она не спит. И шепнула что-то.

КНЯЗЬ. Что?

РОГОЖИН. Или показалось мне, но только шепнула, кажется: я мол, наложницей, твоею буду, только не режь. Я и кольнул изо всей силы... Стой, слышишь?

КНЯЗЬ. Нет.

РОГОЖИН. Слышишь? Ходит в зале.

КНЯЗЬ. Слышу.

РОГОЖИН. Ходит.

КНЯЗ. Ходит.

РОГОЖИН. Я ведь и себя хотел убить. Но думаю: как же она-то останется?

КНЯЗЬ. Ах, да! Да... я ведь хотел... хотел... эти карты! Карты!

РОГОЖИН. Какие?

КНЯЗЬ. Которыми ты с ней играл?

РОГОЖИН. Здесь карты... вот. *(Вынимает их, карты рассыпаются.)*

КНЯЗЬ. Посыпались...

РОГОДЖИН *(захохотав)*. Нет, ты поручика-то помнишь, поручика, как она его на музыке... хлыстом хлестнула...

КНЯЗЬ в испуге смотрит на него, потом прижимает к себе его голову. Оба застывают обнявшись.

НАСТАСЬЯ ФИЛППОВНА *(всматриваясь в картину)*

Гольнбейна). Христа пишут живописцы всё по евангельским сказаниям, а я бы написала иначе: я бы изобразила его одного — оставляли же его иногда ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького ребёнка. Ребёнок играл бы подле него, может быть, рассказывал бы ему что-нибудь на своем детском языке. Христос слушал его, но теперь задумался. Рука его невольно осталась на светлой голове ребёнка. Он смотрит вдаль, за горизонт; мысль великая, как весь мир, покоится в его взгляде; лицо грустное. Ребёнок замолк, облокотился на его колена... Солнце заходит... *(Опускается рядом с ними.)*

*Мёртвый Христос смотрит на них остекленевшим оком.
И входят люди.*

БРАТЬЯ И АД

**Трагифарс в двух актах по роману Достоевского
«Братья Карамазовы» и поздним рассказам**

ЛИЦА

ПАПАША Карамазов

СТАРЕЦ

СТАРШИЙ брат

СРЕДНИЙ брат

МЛАДШИЙ брат

Незаконный СМЕРДЯКОВ, с подносом

РЕТРОГРАДНЫЙ черт

черт С НАПРАВЛЕНИЕМ

МОНАШЕК, он же БЕСЕНОК в дамском

Вне мира: то ли монастырская келья, то ли тюремная камера.

АКТ 1. БРАТЬЯ

Все действующие лица на сцене; в стороне — пустой гроб.

РЕТРОГРАДНЫЙ (*в публику, шутовски*). Да вы посмотрите на наш разврат. На наших сладострастников. Он вот, Фёдор Павлович Карамазов (*указывает на Папашу*), жертва несчастная, он есть перед иными из нас невинный младенец. А ведь мы все его знали, он между нами жил.

Другой ЧЕРТ соглашается.

ПАПАША (*задумчиво, промокая кровь у виска*). Вот-вот, и я так думаю: невозможно же, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помер. Ну вот: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика там какая что ль у них есть? Вот здесь, в монастыре, иноки, наверное, полагают, что в Аде, например, есть потолок. Я вот готов поверить в Ад, только чтоб без потолка: выходит оно как будто деликатнее просвещённое. А в сущности ведь не всё ли равно: с потолком или без потолка?

РЕТРОГРАДНЫЙ. В самом деле, что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность во всей даже России?

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Нет, бери выше — во всей даже Восточной Европе!

РЕТРОГРАДНЫЙ. Посмотрите на этого несчастного старика.

ЧЕРТ С НАПРАВЛЕНИЕМ. Разнузданного и разврат-

ного!

РЕТРОГРАДНЫЙ. На этого отца семейства, столь печально окончившего своё существование.

ПАПАША (*раскланиваясь, показывая свой нос в профиль*). Настоящий римский. Вместе с кадыком физиономия древнего римского патриция. Времени упадка.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, через нечаянную женитьбу схвативший небольшой капиталчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с годами ободряется, приниженность исчезает, остаётся лишь насмешливый, злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни — жажда жизни необычайная! Так учит и детей своих (*Показывает на братьев.*) Отеческих, духовных каких-нибудь обязанностей — никаких. Он над ними смеётся, он воспитывает своих детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе...

ПАПАША. Ну, а коли нет потолка, стало быть, нет и крючьев. Значит, опять невероятно; кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что, ежели меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете? Их следовало бы выдумать эти крючья для меня нарочно, для меня одного, потому что, если бы вы знали, господа, какой я срамник!

РЕТРОГРАДНЫЙ. Вот младший сын. О, этот ещё юноша благочестивый и смиренный, ищущий прилепиться, так сказать, к народным началам...

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Как это называется в иных теоретических углах интеллигенции нашей.

МЛАДШИЙ (*Папаше, серьёзно*). Да нет там крючье-

ев.

ПАПАША. Так-так, одни тени крючьев... Да ты голубчик, почему знаешь? А впрочем, ты юн, доберись до правды: всё же идти на тот свет легче, коли знаешь, что там такое.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Пока, видите ли, юноша прилепился к монастырю, чуть сам не постригся в монахи. В нём, надо думать, выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата западного просвещения, бросаются, так сказать, к родной почве, в материнские объятия родной земли.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. С моей стороны я желаю даровитому юноше всего лучшего, желаю, чтоб его юное прекраснодушие и стремление к народным началам не обратилось впоследствии, как столь часто это случается со стороны гражданской, в тупой шовинизм, со стороны нравственной — в мрачный мистицизм...

ПАПАША (*Младшему*). Милый мой мальчик, так ты к монахам хочешь? Мне тебя жаль, воистину я тебя любил. (*Старцу*) Особенное впечатление, видать, произвели вы, священный старец, на моего тихого мальчика. (*Младшему*) Впрочем, вот тебе и удобный случай, помолись за нас грешных, слишком уж на земле мы нагрели. Я всё помышлял о том, кто это за меня когда-нибудь помолится? Есть ли на свете такой человек...

РЕТРОГРАДНЫЙ. А вот — средний брат. Один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, слишком уже много в жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь, как и родители его...

ПАПАША (*Старцу*). Божественный и святейший старец, это мой сын — плоть от плоти моей, любимейшая моя плоть.

РЕТРОГРАДНЫЙ. И он в нашем обществе был принят дружелюбно. Мнений своих не скрывал...

С НАПРАВЛЕНИЕМ. О, напротив, совсем напротив. Вот я расскажу, господа, анекдот, интереснейший и характернейший. Не далее как пять дней назад в одном здешнем, по преимуществу дамском, обществе он торжественно заявил, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы — чтобы человек любил человека — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в своё бессмертие. Мало того: уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие — тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено!

РЕТРОГРАДНЫЙ. Вплоть до антропофагии?

С НАПАРАВЛЕНИЕМ. Вплоть и до антропофагии.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Прекрасно! Эдакое духовное безудержие!

СТАРЕЦ (*очень неожиданно*). Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие душ их?

СРЕДНИЙ. Нет добродетели, если бессмертия нет.

СТАРЕЦ. Блаженны вы, коли так веруете. Или уже очень несчастны.

СРЕДНИЙ. Почему несчастен?

СТАРЕЦ. Потому что, по всей вероятности, не веруете сами в бессмертие вашей души. Но идея эта ещё

не решена в вашем сердце. И мучает его. И в этом ваше великое горе. Но благодарите творца, что дал вам сердце высшее, способное такой мукой мучиться. Горняя мудрствовать и горних искати, наше бо жительство на небесах есть!

СТАРЕЦ поднимает руку для благословения, крестит среднего, но СРЕДНИЙ внезапно подходит и целует у старца руку.

ПАПАША. Это мой сын! Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Моор! А этот вот, старшенький — это уж не почтительнейший Франц Моор. Оба — из «Разбойников».

РЕТРОГРАДНЫЙ (*в публику*). Да, вот старший сын этого отца современного семейства. В противоположность европеизму и народным началам младших братьев — этот изображает как бы Россию непосредственную. Это — добро и зло в удивительнейшем смешении. Любитель Шиллера, каковым и папаша был, а бушует по трактирам. Офицер, где служит, там и кутит, а большому кораблю, известно, большое плаванье. То есть — ему нужны средства прежде всего, и вот после долгих споров порешено у него было с отцом на последних шести тысячах рублей. И их ему высылают...

ПАПАША. А меня обвиняли, что я детские деньги за сапог спрятал. Взял баш на баш. Но позвольте — разве не существует суда! Там тебе сочтут по самым расписками твоим, письмам и договорам, что столько у тебя было — всё истребил. В итоге, ещё мне же остался, да не сколько-нибудь, а несколько тысяч. На что имею все документы!

СТАРШИЙ. Бесстыдник и притворщик!

ПАПАША. Весь город трещит и гремит от его кутежей. По тысяче и по две за обольщение честных девиц платил! Это нам известно в самых секретных подробностях! Обольстительница эта хоть и жила в гражданском браке с одним почтенным человеком, но характера независимого, крепость неприступная для всех, ибо добродетельна, отец святой, добродетельна!

СТАРШИЙ. Молчать! Не смей при мне марать благороднейшую девицу.

ПАПАША. Ага! Хотел эту крепость золотым ключом отпереть? Для чего надо мной и куражился, отчего хотел с меня ещё три тысячи сорвать, хоть тысячи уж на обольстительницу просорил. *(Всем)*. Деньги, между прочим, занимает беспрерывно...

СТАРШИЙ. Ложь всё! Снаружи правда, внутри ложь! Вы теперь меня упрекаете в слабости к этой госпоже, тогда как сами же учили её заманить меня! И засадить меня хотели, потому что меня же к ней ревновали. Потому что сами к ней приступали со своей любовью. Мне всё известно, сама мне рассказывала, смеясь над Вами. Так вот вам, святой отец, этот человек, упрекающий развратного сына!

ПАПАША *(вопит)*. Если б только он не мой сын, то я в ту же минуту вызвал бы его на дуэль... на пистолетах, на расстоянии трёх шагов... через платок! Через платок!.. Но, впрочем... *(Ощупывает свою рану)*.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Две бездны, две бездны, господа — в один и тот же момент. А без того мы несчастны и не удовлетворены. Существование наше не полно. Мы широки, широки, как вся матушка Россея, мы все вместим

и со всеми уживёмся. Разом созерцать бездны эти — одну над нами, бездну идеалов, другую — внизу, бездну самого нищего и самого зловонного падения...

С НАПРАВЛЕНИЕМ. И обратите внимание на сюжет: отец ревновал своего старшего сына к женщине скверного поведения, а сам же с этой женщиной сговаривается засадить сына в тюрьму. Ха-ха!

СТАРШИЙ. Зачем, зачем жил такой человек! Нет, скажите мне, можно ли было позволить ему бесчестить собою землю!

ПАПАША. Слышали, слышали, монахи, слышали отцеубийцу! После этого изреките, великий старец, который из них, из сыновей моих, дерзнул отца своего убить! *(Ко всем)* А что до неё, то эта скверного поведения женщина может быть святее вас самих, господу спасающиеся!

МОНАШЕК. Невозможно!

ЧЕРТТИ *(с удовлетворением)*. Совершенно невозможно.

СТАРЕЦ *(про себя)*. Кто меня поставил делить между ними...

ПАПАША. Она, может быть, в юности пала, заеденная средой. Но она возлюбила много, и Христос ей простил!

МЛАДШИЙ. Христос не за такую любовь прощает, отец.

ПАПАША. Нет, мальчик мой, за такую. За эту самую! Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники! Пескариков кушаете, в день по пескарику, и думаете пескариками Бога купить!

МОНАШЕК. Невозможно!

ЧЕРТИ. Абсолютно невозможно.

МЛАДШИЙ. Простите его все. (*Старцу*) Простите его!

СТАРЕЦ вдруг поднимается с места, подходит к *СТАРШЕМУ*, опускается перед ним на колени. Кланяется ему до земли. Остаётся на коленях до конца акта.

ПАПАША. Это что же он в ноги-то, это эмблема какая-нибудь?

МЛАДШИЙ бросается к *СТАРЦУ*.

СТАРЕЦ (*Младшему*). Ступай от меня, милый. Ты им нужен.

МЛАДШИЙ. Благословите здесь остаться.

СТАРЕЦ. Ты нужней в миру, чем здесь. Знай, сынок, что и впредь тебе здесь не место. Запомни сие, юноша. Как только сподобит меня Бог преставиться — и уходи из монастыря. Совсем иди. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе ещё странствовать. И дела много будет. Вот тебе завет: в горе счастье ищи. Запомни слово моё отныне, ибо не только дни, а и часы мои сочтены. (*Указывает на гроб.*)

МОНАШЕК. У юродивых и всегда так: на кабак крестится, а в храм камнями мечет. Это — по-нашему. (*Младшему*) Так и твой старец праведника палкой вон, а убийце — в ноги поклон. Скажи ты мне, что сей сон значит?

МЛАДШИЙ. Какой сон?

МОНАШЕК. А вот земной-то поклон твоему братцу старшему. Да ещё как лбом-то стукнулся!

МЛАДШИЙ. Не знаю, что это значит. Но про что ты? Какому убийце?

МОНАШЕК. Какому? Будто не знаешь? Бьюсь об заклад, что ты сам уж об этом думал. Думал ты об этом или не думал, отвечай?

МЛАДШИЙ. Думал. Нет, не то, чтобы думал, а вот как ты сейчас стал про это так странно говорить, то мне и показалось, что я про это сам думал.

МОНАШЕК. Ещё бы. У этих честнейших, но любострастных людей есть черта, которую не переходи. Пусть он и честный человек, братец твой старший, но он — сладострастник, это отец ему передал.

МЛАДШИЙ. Нет, нет, брат отца убить не мог. Не верю.

МОНАШЕК. Тут... тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймёшь. Тут влюбился человек в красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского — и отдаст за неё отца и мать, продаст Россию и отечество: будучи честен — украдёт, будучи кроток — зарежет, будучи верен — изменит...

МЛАДШИЙ. Я это понимаю.

МОНАШЕК. Будто? Ты это нечаянно брякнул, это вырвалось, тем драгоценнее признание! Ах ты, девственник! Девственник, а уж такую глубину прошёл. Да ты ведь сам — Карамазов! По отцу — сладострастник, по матери — юродивый. Чего дрожишь? Аль правду говорю? Ах вы... дворяне!

МЛАДШИЙ. И всё ж таки он не мог! (*Оглядывается на Старшего.*)

СТАРШИЙ (*Младшему*). Хорошо, что ты сам оглянулся. А я чуть было тебя не крикнул... Ах, чёрт возьми,

да чего же я шепчу! Ну, вот сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы. Поцеловать тебя хочу! Люблю только тебя одного. Одного тебя, да ещё одну подлую, в которую влюбился, с тем и пропал. Но влюбиться — не значит любить. Влюбиться, можно и ненавидя. Запомни! Теперь пока весело говорю. Ну, так я теперь не во сне лечу. И не боюсь, и ты не бойся. То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг... ну да чёрт, всё равно, что бы ни было! Теперь я намерен уже всё говорить, брат. Ибо хоть кому-нибудь надо же сказать. Ангелу в небе я уже сказал, но надо же Ангелу на земле. Ты Ангел на земле. Ты выслушаешь, ты рассудишь, и ты простишь... Вот я ищу и не знаю: в вонь ли попал и позор или в свет и радость. Вот ведь где беда, ибо всё на свете загадка. И когда мне случалось погружаться в самый, самый глубокий позор разврата, то я всегда стихотворение о Церере и человеке читал. Душу божьего творенья Радость вечная поит... Ну и так далее. Исправляло оно меня? Никогда! Потому что я — Карамазов. Потому что, если уж полечу в бездну, то так-таки прямо головой вниз и вверх пятаями, и даже доволен, что именно в унижительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я иду в то же время вслед за чертой, но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть.

МЛАДШИЙ (*тихо*). И я такой же!

СТАРШИЙ (*не слыша, в экстазе*). Это — бури, потому что сладострастье, — буря, больше бури! Красота это — страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что

неопределимая, и определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки! Тут берега сходятся, тут все противоречия вмести живут! Страшно много тайн, слишком много загадок угнетают человека на земле. Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Ещё страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны. И горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил!.. Чёрт знает даже что такое, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Ведь что в содоме-то она и сидит, — знал ты эту, тайну или нет? Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Ты краснеешь, у тебя глаза сверкнули.

МЛАДШИЙ. Я не от твоих речей покраснел, а за то, что я — то же самое!

СТАРШИЙ. Ты-то? Ну, хватил немного далеко.

МЛАДШИЙ. Нет, недалеко. Всё одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. А кто ступил на нижнюю ступеньку, тот всё равно непременно ступит и на верхнюю.

СТАРШИЙ. Стало быть — совсем не вступать?

МЛАДШИЙ. Кому можно — совсем не вступать.

СТАРШИЙ. А тебе можно?

МЛАДШИЙ. Кажется, нет.

СТАРШИЙ. Вот-вот. Я, видишь ли, сперва всего пошел её бить. Я узнал, что Грушеньке этой был одним штабс-капитаном, отцовским поверенным, вексель на меня передан, чтоб я унялся и кончил своё у отца тре-

бовать. Испугать хотели. Я Грушеньку и двинулся бить. Видал я её и прежде мельком. Она не поражает. Знал тоже, что деньгу нажить любит. На злые проценты даёт, пройдоха, шельма, без жалости. Пошёл я бить ее, да у ней и остался. Грянула гроза, ударила чума, заразился. Цикл времён совершён. Вот моё дело. А тогда вдруг, как нарочно, у меня в кармане очутились три тысячи. Цыган добыл шампанского, всех мужиков шампанским перепоил, всех баб и девок, двинул тысячами... Я говорю тебе — изгиб. У Грушеньки, у шельмы, есть такой изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике — мизинчике на левой ножке отозвался. Видал и целовал. Говорит: хочешь, выйду замуж, ведь ты нищий. Скажи, что бить не будешь и позволишь мне всё делать, что я захочу...

МЛАДШИЙ. Ты и в самом деле на ней женишься?

СТАРШИЙ. Да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что всё это бред, немыслимый бред, ибо тут трагедия!

МЛАДШИЙ. Ты несчастен, да?

СТАРШИЙ. Эх, пропадай моё сало. Буду мужем её, в супруги удостоюсь, а коль придёт любовник, выйду в другую комнату. У её приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать. Эх, смрадный переулочек и inferнальница! А отец? Слушай, юридически он мне ничего не был должен. Всё я у него выбрал, я это знаю. Но ведь нравственно-то он мне должен был, так или не так? Ведь он с материних двадцати восьми тысяч пошёл и сто тысяч нажил. Должен был мне дать только три тысячи, только три, и душу мою из ада извлёк бы! А он ведь, он ведь перед смертью своей всё Грушеньку поджидает, и как раз с

пакетом, на пакете же написано: «Ангелу моей Грушеньке, коли захочет прийти. И цыплёночку». Сам нацарапал, видишь, как подробно знаю! А в пакете — ровно три тысячи было. Мне Смердяков-лакей сказал, кроме нас двоих и не знал никто... Но ведь если б она пришла к старику, разве б мог я на ней тогда жениться?

МЛАДШИЙ. Так это Смердяков тебе сказал, вот что. Про пакет?

СТАРШИЙ. Под величайшим секретом. (*Уходит.*)

СМЕРДЯКОВ. Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние иностранцы и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с, как говаривал покойный Фёдор Павлович, хотя сумасшедший со всеми своими детьми... Они меня считают, что бунтовать могу; это они ошибаются-с. Была бы в кармане моём такая сумма, и меня бы здесь давно не было. Могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке. Потому что я готовлю специально, а никто не может подать специально, кроме иностранцев. Старший-то брат хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищетою своею-с, и ни чего-то не умеет делать, а ото всех почтён. А чем он лучше меня-с? Потому что он не в пример глупее. Сколько денег просвистал без всякого употребления-с? (*Подает Папаше на подносе рюмку коньяку.*)

ПАПАША (*Младшему*). Эй, монашек, так как же — есть Бог?

МЛАДШИЙ. Есть Бог.

ПАПАША (*Среднему*). А ты что скажешь, бессмертие

есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое?

СРЕДНИЙ. Нет бессмертия.

ПАПАША. Никакого?

СРЕДНИЙ. Никакого.

ПАПАША. То есть совершеннейший нуль и ничто. Может быть, нечто какое-нибудь есть? Всё же ведь не ничто.

СРЕДНИЙ. Совершенный нуль.

ПАПАШАП (*Младшему*). А ты что скажешь? Есть бессмертие?

МЛАДШИЙ. Есть.

ПАПАША. И Бог, и бессмертие?

МЛАДШИЙ. И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие.

ПАПАША. Гм. Хорошо, если б так. Но вероятнее, он прав. (*Указывает на Среднего.*) Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это уже столько тысяч лет! Кто же это так смеётся над человеком?

СРЕДНИЙ (*усмехаясь*). Чёрт, должно быть.

ПАПАША. А чёрт есть?

СРЕДНИЙ. Нет, и чёрта нет.

ПАПАША. Жаль. Чёрт возьми, что б я сделал с тем, кто первый придумал Бога. Повесить его мало на горькой осине. Эй, да мы сейчас вот хоть Смердякова спросим. Эй, Смердяков?

СМЕРДЯКОВ. Слушаю-с.

ПАПАША. Ну-ка, прочитай-ка нам свою лакейскую проповедь об вере. Что ты на сей счет полагаешь?

СМЕРДЯКОВ. Вот сказано в писании, что, коли

имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно, и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет немало не медля. Коли я неверующий, например, а вот вы, к примеру, верующий (*обращаясь к Младшему*), то попробуйте-ка сами сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море, а в нашу речку вонючую съехала, то и увидите сами, что ничего не съедет-с. А ведь это означает, что и вы не веруете. Опять-таки и то взявши, что никто в наше время, не только вы-с, но и решительно никто не может спихнуть горы в море, кроме разве одного какого-нибудь человека на всей земле, много двух, да и то может где-нибудь там в секрете в пустыне Египетской спасаются, так что их и не найдёшь вовсе, — то коли так-с, коли все остальные выходят неверующие, то неужели же всех остальных, кроме двух каких-нибудь тех пустынных, проклянёт Господь и при милосердии своём никому из них не простит?

ПАПАША. Стой! Так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты всё-таки полагаешь, что они есть? Весь русский человек тут сказался! (*Младшему*) Ведь правда? Ведь совершенно русская вера, такая?

МЛАДШИЙ (*твёрдо*). Нет, у Смердякова совсем не русская вера.

ПАПАША. Я не про веру, я про эту черту, про этих двух пустынных, про эту одну только чёрточку: ведь это же по-русски, по-русски!

МЛАДШИЙ. Да, черта совсем русская.

ПАПАША (*Смердякову*). Червонца стоит твоё слово. Но в остальном ты всё-таки врешь, врешь и врешь. Знай, дурак, что здесь мы все от легкомыслия лишь не веруем, потому что нам некогда — времени Бог мало дал.

Ведь как на земле: во дню только двадцать четыре часа, так что некогда и выспаться, не только покаяться. (*Пьёт коньяк, Среднему.*) Это ты ему столь любопытен, что он всё лезет. Чем ты его заласкал?

СРЕДНИЙ. Ровно ничем. Уважать меня вздумал. Это лакей и хам. Передовое мясо, впрочем, когда срок наступит.

ПАПАША. Передовое?

СРЕДНИЙ. Будут другие и получше, но будут и такие. Сперва будут такие, а за ними получше.

ПАПАША. А когда срок наступит?

СРЕДНИЙ. Загорится ракета, да не догорит, может быть...

ПАПАША стушевывается.

(*Младшему*) Слушай, я думаю, если Дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал его по своему образу и подобию!

МЛАДШИЙ. В таком случае, равно как и Бога.

СРЕДНИЙ. Ты поймал меня на слове. Пусть, я рад. Хорош же твой Бог, коль его создал человек по образу своему и подобию. Видишь ли, я любитель и собиратель некоторых фактиков и, веришь ли, записываю и собираю из газет и рассказов, откуда попало, некоторого рода анекдотики, и у меня уже хорошая коллекция. Вот дельце: девочку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать. Почтеннейшие, образованные, воспитанные. Очень многие любят мучить детей, любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность этих созданий и соблазняет, ангельская доверчивость, это-то и распаляет гадкую кровь. Во всяком чело-

веке, конечно, таится зверь — зверь гневливости, сладострастной распалюемости от криков истязуемой жертвы, зверь нажитых в разврате болезней. Эту бедную девочку родители били, секли, пинали ногами, в холод, в мороз запирали её на всю ночь в отхожее место, а за то, что она не просилась ночью, за это обмазывали ей всё лицо её калом и заставляли её есть этот кал. И это мать, мать заставляла! Понимаешь ли ты эту ахиною, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахиная так нужна и создана! Без неё, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит, когда этих слёзок ребёночка к Боженке... Мучаю я тебя, ты как будто бы не в себе.

МЛАДШИЙ. Ничего, я тоже хочу мучиться.

СРЕДНИЙ. Или вот пример. Одну, только одну ещё картинку, очень уж характерная, в одном из сборников наших древностей. Живёт себе генерал и богатейший помещик в своём поместье в две тысячи душ. Чванится, третирует мелких соседей как шутов своих, и вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. Докладывают генералу, тот берёт его от матери, наутро чем свет выезжает на охоту, мальчика генерал велел раздеть, «гони его», командует генерал, «беги, беги», кричат псари, мальчик бежит, ату его», вопит генерал, — и затравил на глазах матери, и псы растерзали ребёнка в клочки... Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну, что же, расстрелять его было для удов-

летворения нравственного чувства?

МЛАДШИЙ (*тихо*). Расстрелять.

СРЕДНИЙ. Bravo! Уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой бесёнок у тебя в сердечке живёт!

МЛАДШИЙ. Для чего ты меня испытываешь?

СРЕДНИЙ. Слушай меня: я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человечества я уж ни слова не говорю. Что мне в том, что виновных нет — мне нужно возмездия, иначе я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь, а здесь уже на земле, и чтоб я сам его увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мёртв, то пусть воскресят меня, ибо если всё без меня произойдёт, то будет слишком обидно.

МЛАДШИЙ. Брат, к чему всё это?

СРЕДНИЙ. Видишь ли, ведь когда я сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидеть Его, то и сам я воскликну со всеми, глядя на мать, обнявшуюся с мучителем её дитяти: прав ты, Господи. Но я не хочу тогда восклицать. Пока ещё время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачёнком в грудь и молился в зловонной конуре своей неисккупленными слёзками своими к Боженьке! Не стоит, потому что слезинки его остались неисккупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их мщение, зачем мне Ад для мучителей, что тут Ад может поправить, ко-

гда те уже замучены? И какая же гармония, если Ад: я простить хочу и обнять хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим её сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание своё; но страдание своего растерзанного ребёнка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребёнок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщёнными. Лучше уж я останусь при неотомщённом страдании моём, хотя бы был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу вернуть обратно. И если только я честный человек, то обязан вернуть его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, а только билет ему почтительнейше возвращаю.

МЛАДШИЙ (*тихо, потупившись*). Это бунт.

СРЕДНИЙ. У нас в Москве в допетровскую старину по всему миру ходило тогда много повестей и стихов, в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. Есть, например, одна монастырская поэмка «Хождение Богородицы по мукам», с картинками и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посе-

щает Ад, и руководит её по мукам архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, но тех уже забывает Бог — выражение чрезвычайной глубины и силы...

МЛАДШИЙ. Брат, ты спросил, есть ли во всём мире существо, которого могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может всё, простить всех и вся и за всё. Ты забыл о нём!

СРЕДНИЙ. Нет, не забыл, и всё удивлялся, как ты его долго не выводишь. Так вот, пораженная виденным в Аду и плачущая Богоматерь предстаёт пред престолом Божиим и просит всем во Аде помилования, без различия. И когда Бог ей указывает на пригвождённые руки и ноги её сына и спрашивает: как я прощу его мучителей, — то она велит всем святым, всем мученикам, всем, ангелам и архангелам, пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от Великой пятницы до Троицына дня, и грешники из Ада тут же благодарят Господа и вопиют к нему: прав ты, Господи, что так судил!.. И это грешники говорят, заметь, эдакое календарное представление о гармонии-то...

МЛАДШИЙ. Ты не веришь в Бога!

СРЕДНИЙ (*смеясь*). Да ведь это вздор, это старинная только поэмка, к чему ты в такой серьёз берёшь? Да в сущности — какое мне дело! Мне бы только до тридцати лет дотянуть, а там — кубок об пол!

МЛАДШИЙ. А клейкие вот эти листочки? А дорогие могилы? А голубое небо и любимая женщина? Чем ты

всё это любить-то будешь? С таким адом в груди и в голове — разве это возможно?

СРЕДНИЙ (*усмехаясь*). Есть такая сила, что всё выдержит!

МЛАДШИЙ. Какая сила?

СРЕДНИЙ. Карамазовская... сила низости карамазовская.

МЛАДШИЙ. Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да?

СРЕДНИЙ. Пожалуй, и это... только до тридцати лет, может быть, и избегну, а там...

МЛАДШИЙ. Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоим-то адом! Это чтобы «всё позволено»? Всё позволено, так ли, так ли?

СТАРЕЦ (*стоя на коленях, как если бы молился*). Мыслю: что есть Ад? Рассуждаю так: страдание о том, что нельзя уже более любить. Раз, только раз в бесконечном бытии дана была духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: я есть, и я люблю. Так, только раз дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь. А с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Говорят о пламени адском материальном: не исследую тайну сию и страшусь. Но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо в мучении материальном хоть на миг позабылась бы страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их...

СМЕРДЯКОВ. Ужасное моё положение было. Оба совсем блажные: отец и старший сын. С одной стороны — папаша, как начнут приставать: что не пришла? Зачем не пришла? И так вплоть до полуночи, и даже за полночь. С другой стороны, как только смеркнется, так сын его с оружием в руках явится по соседству: смотри, дескать, проглядишь её у меня и не дашь мне знать, что пришла, убью тебя прежде всякого! Я думал иной час от страху сам себя жизни лишиться-с.

СРЕДНИЙ. А зачем ввязался? Зачем брату стал переносить?

СМЕРДЯКОВ. А как бы я не ввязался? Я возражать не смел. Но уж тогда предчувствовал, перед убийством-то, что может со мной приключиться длинная падучая.

СРЕДНИЙ. Да ведь, говорят, падучую нельзя заранее предсказать.

СМЕРДЯКОВ. Это точно. Нельзя-с.

СРЕДНИЙ. Я тебя что-то не понимаю. Притворялся ты что ли, что у тебя падучая была?

СМЕРДЯКОВ. Даже если я эту штуку и мог-с, то есть чтоб притвориться-с, и так как её сделать совсем не трудно опытному человеку, то и тут я был в полном праве моём это средство употребить для спасения жизни-с моей от смерти.

СРЕДНИЙ. А, чёрт. Что ты всё о своей жизни трусишь?

СМЕРДЯКОВ. Я пуще другого боюсь. Что сочтут меня сообщником

СРЕДНИЙ. Почему тебя сочтут?

СМЕРДЯКОВ. Потому что я один тайные знаки знал. На случай, если Грушенька придёт: раз-два, а потом

сейчас три раза поскорее тук-тук-тук. И другой, на случай, если что экстренное произойдёт: сначала два раза скоро, тук-тук, а потом, обождав ещё один раз, гораздо крепче. А брату вашему эти знаки тоже были известны.

СРЕДНИЙ. Почему известны? Передал ты? Как же ты смел передать?

СМЕРДЯКОВ. От этого самого страху-с. Каждый день напирали: ты от меня что скрываешь? Я тебе обе ноги сломаю!

СРЕДНИЙ. Так не открывал бы.

СМЕРДЯКОВ. Но ведь я в припадке лежал-с!

СРЕДНИЙ. Что за ахинея. Да ты не сам ли так подвёл, чтобы всё сошлось?

СМЕРДЯКОВ. Как же я так подвёл-с... И для чего подводить?

СРЕДНИЙ. А зачем же он к старику пришёл?

СМЕРДЯКОВ. По единой ихней злобе. Им совершенно было известно, что у старика конверт большой приготовлен, а в нём три тысячи запечатано. Под тремя печатями. Ангелу моему Грушеньке. И цыплёночку.

СРЕДНИЙ. Вздор! Не мог мой брат прийти грабить деньги, да при этом ещё отца убить! Он мог его за Грушеньку убить, как исступленный злобный дурак, но грабить не пришел бы!

СМЕРДЯКОВ. Очень ему деньги были нужны. Эти три тысячи-с они считали к тому же как бы за свои собственные. Мне говорили, родитель остаётся должен ещё три тысячи ровно.

СРЕДНИЙ. Да коли ты всё это знал, зачем же мне уезжать-то советовал? Знал, что коли уеду, тут всё это и произойдёт?

СМЕРДЯОВ. Совершенно верно-с.

СРЕДНИЙ. Как совершенно верно?

СМЕРДЯКОВ. Говорил, вас жалеючи.

СРЕДНИЙ. Ты... ты, кажется, большой идиот. И уж конечно... страшный мерзавец.

СМЕРДЯОВ скалится, кланяется, уходит.

Может, он-то и хотел убить! *(Уходит.)*

СТАРЕЦ *(Младшему)*. Что ты, подожди оплакивать. Пусть мирские слезами провожают своих покойников, а мы здесь отходящему отцу радуемся. Радуемся и молим о нём. *(Кладёт руку ему на голову.)* Был ли у своих и видел ли брата?

МЛАДШИЙ. Одного из братьев видел и с другим говорил.

СТАРЕЦ. Я про того, старшего, которому я до земли поклонился.

МЛАДШИЙ. Он ушёл. Теперь никак не мог найти.

СТАРЕЦ. Поспеси. Всё оставь и поспеси. Может, ещё успеешь предупредить. Я давеча великому будущему его страданию поклонился.

МЛАДШИЙ. Отец и учитель, слишком неясны слова ваши...

СТАРЕЦ. Не любопытствуй. Показалось мне давеча нечто страшное, словно всю судьбу его выразил его взгляд... так что ужаснулся я в сердце моём мгновенно тому, что уготовляет этот человек для себя. Раз или два в жизни видел я такое же выражение лица... как бы изображавшее всю судьбу тех людей, и судьба их, увы, сбылась. Но всё от Господа и все судьбы наши. Если, пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останет-

ся одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Запомни сие... Гляжу на тебя, и умиляется сердце моё. И созерцаю как бы всю жизнь мою в сию минуту, како бы вновь её всю изживая. Помню, повела меня матушка во храм Господень в страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко так и льются на нас в церковь Божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно, и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое семя слова Божья осмысленно. Был муж в земле Ур, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства, столько-то верблюдов, столько-то овец и ослов, и дети его веселились, и любил он их очень и молил за них Бога, может, согрешили они, веселясь. И вот восходит к Богу Дьявол вместе с сынами Божьими и говорит Господу, что прошёл по всей земле и под землёю. А видел ли раба моего Иова, спрашивает его Бог. И похвалился Бог Дьяволу, указав на великого святого раба своего. И усмехнулся Дьявол на слова Божии: передай его мне и увидишь, что возропщет раб твой и проклянет твоё имя. И предал Бог своего праведника, столь им любимого Дьяволу, и поразил Дьявол детей его, и скот его, и разметал богатство его: всё вокруг: как громом Божиим, и разодрал Иов одежды свои и бросился на землю, и возопил: наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю, Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века! Отцы и учителя, пощадите теперешние слёзы мои... *(Старец плачет.)* Дышу теперь, как дышал восьмилетнюю грудкой

моей. И чувствую, как тогда, удивление, и смятение и радость. И верблюды-то так тогда моё воображение заняли, и Сатана, который так с Богом говорит, и Бог, отдавший раба своего на погибель, и раб его, восклицающий: буди имя твое благословенно, несмотря на то, что казнишь меня! И снова фимиам от кадила... Благословляю восход солнца ежедневно, и сердце моё по-прежнему поёт ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, — и надо всем правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая! Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, и чувствую, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущей жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце! *(Прижимает руки к сердцу, склоняется лицом ниц к земле, простирает руки как бы в радостном восторге, целует землю, замирает, отдаёт Богу душу.)*

Гроб устанавливается посредине, в него переносят тело старца.

МОНАШЕК *(Младшему)*. Да что с тобой? Знаешь, ты совсем переменялся в лице. Никакой этой кротости прежней твоей нет. Осердился на кого что ли? Обидели?

МЛАДШИЙ. Отстань.

МОНАШЕК. Ого, вот мы как. Совсем как и прочие смертные стали покрикивать. Это из ангелов-то! Удивил ты меня, знаешь — искренне тебе говорю. Да неужели ж ты только оттого, что старик твой... провонял! Да неужели ж ты верил всерьёз, что он чудеса отмачивать

начнёт? Ведь я всё же тебя за образованного человека почитал...

РЕТРОГРАДНЫЙ (*другому*). Покойник-то, святой-то их, чертей отвергал.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. то ж, днесь и сам провонял.

ОБА. В сем — указание Господне великое видим! (*Удаляются*).

МЛАДШИЙ (*кричит*). Верил, верую и буду верить! Чего тебе ещё?

МОНАШЕК. Да ничего ровно, голубчик. Фу, чёрт, да этому теперь тринадцатилетний школьник не верит. А, впрочем, чёрт... Так ты вот теперь и рассердился на Бога-то своего, взбунтовался: чином де обошли, к празднику ордена не дали...

МЛАДШИЙ (*усмехаясь*). Я против Бога моего не бунтуюсь, я только мира его не принимаю.

МОНАШЕК. Как это мира не принимаешь? Что за белиберда? Но довольно о пустяках. Ел ты сегодня?

МЛАДШИЙ. Не помню, ел, кажется.

МОНАШЕК. Есть у меня с собой в кармане колбаса, только ты ведь колбасы не станешь...

МЛАДШИЙ. Давай колбасы!

МОНАШЕК. Эге. Так ты вот как. Значит, совсем уж бунт, баррикады. Ты бы, небось, и водки сейчас выпил?

МЛАДШИЙ. Выпил бы, выпил, иди. (*Жуёт колбасу.*)

МОНАШЕК уходит, МЛАДШИЙ остаётся наедине с покойником.

ГОЛОС СТАРЦА. И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей, и бе мати Иисусова ту... И не доставши ви-

ну, глагола матери Иисусова к нему: вина не имеют...

МЛАДШИЙ. Кана Галилейская, первое чудо...

ГОЛОС СТАРЦА. Глагола ей Иисус: что есть мне и тебе, жено; не прииде час мой. Глагола матери его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите...

МЛАДШИЙ. Кто любит людей, тот и радость их любит. Так старец говорил. И брат старший говорит: без радости жить нельзя...

ГОЛОС СТАРЦА. Глагола им Иисус: наполните водоносы воды, и наполните их до верха...

Тело по-прежнему в гробу. Но СТАРЕЦ материализуется в том месте, где прежде стоял на коленях.

МЛАДШИЙ. Ведь это свадьба, и вино из воды, вот и гости...

СТАРЕЦ. Ты же, милый, тоже зван, зван и призван. Пойдём и ты к нам... Пьем вино новое, вино радости новой, великой. Видишь, сколько гостей? Чего дивишься на меня? Начинай, милый, начинай, кроткий, дело своё! И не бойся его. Страшен величием перед нами, ужасен высотой своей, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресеклась радость гостей, новых гостей ждёт, новых беспрерывно зовёт и уже на веки веков. Вон и вино несут новое! видишь, сосуды несут.

За время последней реплики МЛАДШИЙ сначала опустился на колени, потом распростёрся на полу перед гробом. СТАРЕЦ благословляет публику.

АКТ 2. ЧЕРТИ

Кое-где — тюремные решетки.

ПАПАША (*сидя в гробу старца, с красной повязкой на лбу, рассуждает*). Оно, конечно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Всех здесь, в скиту, двадцать пять святых спасаются, друг на друга не смотрят и капусту едят. И ни одной женщины-то в эти врата не войдёт, вот что особенно замечательно. Но, старец-то, я слышал, дам принимал. Значит, все же лазеечка есть к барыням-то из скита. Не подумайте, что я что-нибудь, я только так... Знаете, на Афоне, это вы слышали ль, не только посещения женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода: курочек, индюшечек, телушечек... (*Задумывается*) Гм, была здесь в одном монастыре подгородная слободка, и уже всем там известно, что в ней одни только монастырские жены живут, там их так называют, штук тридцать жён, я думаю. Я там был, там интересно, в своём роде, разумеется, в смысле разнообразия. Скверно тем только, что русизм ужасный, француженок совсем ещё нет, а могли бы быть, средства знатные. Ну да проведуют — приедут. Для меня ведь как, — для меня даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот моё правило! По моему правилу во всякой женщине можно найти чрезвычайно, чёрт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдёшь — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это одно — половина всего! Босоножку и мовеш-

ку надо сперва наперво удивить — вот как надо за неё братья! Удивить её надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился! Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, и всегда тогда будет такая поломочка, и всегда её господин, и ведь того только и надо для счастья жизни.

СТАРШИЙ (*как во сне*). Ты ямщик, ямщик? А знаешь ты, что надо дорогу давать. Что, ямщик, так никому уж и дороги не видать. Дави, дескать, я еду! Нет, ямщик, не дави! Нельзя давить человека, нельзя людям жизнь портить; а коли испортил жизнь — наказуй себя... если только испортил, если только загубил кому жизнь — казни себя и уйди! Эх, ямщик, простая душа, ты скажи, попадёт старший брат Карамазов во Ад или нет, как потвоему? Эх, стегни левую! Ямщик, а ты, ты простишь меня? За всех, за всех ты один, вот теперь сейчас, здесь на дороге — простишь меня за всех? Говори, дура простолюдина! Господи, прими меня во всём моём беззаконии, но не суди меня! Пропусти мимо без суда твоего... Не суди, потому что я сам осудил себя! Не суди, потому что я люблю тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю тебя: во Ад пошлешь, и там любить буду и оттуда буду кричать, что люблю тебя во веки веков... Но дай и мне долюбить, здесь, теперь долюбить, ибо люблю царицу души моей! Люблю и не могу не любить! Сам видишь меня всего. Прискачу, паду перед ней: права ты, что мимо меня прошла... Прощай и забудь свою жертву, не тревожь себя никогда! Гони, ямщик, гони, еду! Греми, гони вскачь, звени, подкати с треском! Чтоб знали, кто приехал! Я еду! Сам еду!

ПАПАША (*ощупывает платок на лбу*). Красный-то лучше, а то в белом на больницу похоже. Я, милейшие, как можно дольше был намерен на свете пожить. Я хотел ещё лет двадцать на линии мужчины стоять, ну до семидесяти пяти, вот так. А потому мне всякая копейка была нужна: состарился бы, так они ко мне тогда доброй волей не подошли бы, вот тут-то денежки мне и понадобились. Я ведь решил до конца в скверне моей прожить, в скверне-то слаще: все её ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я — открыто. Вот за простодушие-то мое все сквернавцы на меня и накинулись... А в рай я не хочу, да порядочному человеку оно даже в рай-то и неприлично, если даже там и есть он. Нет! Так-то лучше — заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите — так и чёрт вас дери!

ЧЕРТИ засовывают папашу в гроб.

(*Высовываясь*) Вот моя философия! Но теперь уж, кажется, все...

ЧЕРТИ закрывают гроб крышкой; потом под локотки выводят СТАРШЕГО.

СТАРШИЙ (*кричит*). Неповинен! В этой крови неповинен! В крови отца моего неповинен... Хотел убить, но неповинен! Не я! Груша, жизнь моя, кровь моя, святыня моя!..

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Выпейте-ка воды!

СТАРШИЙ. Выпил, господа, выпил... Что ж, господа, давите, казните, решайте судьбу!

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Итак, вы положительно утверждаете, что в смерти отца вашего, Фёдора Павловича, невиновны? (*Стучит пальцем по крышке гроба.*)

СТАРШИЙ. Страшное обвинение, господа, точно по лбу огорошили! Но кто же убил отца, кто же убил? Кто же мог убить, если не я? Чудо, нелепость, невозможность!..

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Да, вот кто мог убить...

СТАРШИЙ. Какие старшие трагедии устраивает с людьми реализм! Глупо! Глупо! И как это всё бесчестно!

РЕТРОГРАДНЫЙ. Да, ревность, ревность! О, невозможно даже себе представить всего позора и нравственного падения, с которым способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести! И ведь не то чтобы это всё грязные и подлые души. Напротив, с сердцем высоким, с любовью чистой, полной самопожертвования, можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлеjších людей, уживаться с самою скверною грязью шпионства и подслушивания. А с другой стороны — трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться и что может простить иной ревнивец! Ревнивцы-то скорее всех и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец чрезвычайно скоро — разумеется, после страшной сцены вначале — может и способен простить, например, уже доказанную почти измену, уже виденные им самим объятья и поцелуи. Казалось бы, что в той любви, за которую надо так подсматривать, и чего стоит любовь, которую надо столь усиленно сторожить!..

СТАРШИЙ. Довольно, довольно! Как сказал Тургенев: Боже, оживи поверженного у забора! Всё это ужас-

но потрясает, ведь не барабанная же шкура человек! На мне лежит страшное подозрение! Ужас! Ужас! Я ведь понимаю же это! Но к делу, господа, я готов, и мы это в один миг теперь и покончим, потому что, послушайте, послушайте, господа. Ведь если я знаю, что я невиновен, то уж, конечно, в один миг покончим. К тому же, я немного пьян, я это вам скажу откровенно.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Вы бы опять — водицы...

СНАПРАВЛЕНИЕМ. Итак, вы отвергаете возводимое на вас обвинение радикально? Отвечайте математически.

СТАРШИЙ. Хорошо, вот запишите так: в буйстве он виновен, в пьянстве — виновен, и про себя, внутри, в глубине своего сердца — виновен, но в убийстве старика-отца — невиновен! Это дикая мысль! Это совершенно дикая мысль! Я вам докажу и вы убедитесь мгновенно, сами будете хохотать над вашим подозрением!..

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Вы, однако, не любили покойного Фёдора Павловича, были с ним в какой-то постоянной ссоре... Вы, кажется, изволили произнести только что, что даже хотели убить его. Не убили, вы воскликнули, но хотели убить!

СТАРШИЙ. Я это воскликнул? Ох, это может быть, господа! Да, к несчастью я хотел убить его, много раз хотел... к несчастью, к несчастью!

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Хотели. *(Другому черту)* Он хотел.

РЕТРОГРАДНЫЙ *(подсказывает)*. Ну, пусть объяснит, какие, собственно, принципы руководствовали его в такой ненависти к личности родителя?

СТАРШИЙ. Что ж объяснять, господа? Я ведь не

скрывал моих чувств. Весь город об том знает. Все знают в трактире. О, тысяча свидетелей! Ещё недавно в келье старца заявил... весь месяц кричал, все свидетели! Факт налицо, факт говорит, кричит, но чувства, это уж другое. Видите, господа, мне кажется, что про чувства вы не имеете права меня спрашивать. Вы хоть и обличены, я понимаю это, но это дело моё, моё внутреннее дело, интимное, но... так я не скрывал моих чувств прежде, в трактире, например, и говорил всем и каждому, то... не сделаю и теперь из этого тайны. Видите, господа, я ведь понимаю, что в этом случае на меня улики страшные: всем говорил, что его убью, а вдруг его и убили: как же не я в таком случае? Ха-ха, я вас извиняю, господа, вполне извиняю, я ведь сам поражён до эпидермы, потому что кто ж его убил в таком случае, наконец, если не я? Ведь, не правда ли, если не я, так кто же, кто? Господа, я хочу знать, я даже требую от вас, господа: где он убит? как он убит, чем и как? Скажите мне...

СРЕДНИЙ. Эй, Смердяков!

Появляется СМЕРДЯКОВ, он болен.

Можешь со мной говорить?

СМЕРДЯКОВ. Очень могу-с.

СРЕДНИЙ. Чего вздыхаешь, ведь ты знал?

СМЕРДЯКОВ. Как же было не знать-с? Наперёд ясно было. Только как же было и знать-с, что так себя поведут?

СРЕДНИЙ. Что поведут? Ты не вилай! Ведь вот ты уже предсказал, что с тобой падучая будет тот час, как в погреб полезешь? Прямо так на погреб и указал. Ты

мне, брат, многое разъяснить сейчас должен, и знай, голубчик, что я с собою играть не позволю.

СМЕРДЯКОВ. А зачем мне такая игра, когда на вас всё моё упование, единственно как на Господа Бога-с!

СРЕДНИЙ. Во-первых, я знаю, что падучую нельзя наперёд предсказать, я справлялся, ты не виляй! День и час нельзя предсказать! Как же ты тогда предсказал день и час, да ещё и с погребом? Как же ты мог наперёд узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если не притворился в падучей нарочно?

СМЕРДЯКОВ. В погреб надлежало и без того идти-с, в день по несколько даже раз. Так точно год тому назад я с чердака полетел-с. Беспременно так, что падучую нельзя предсказать вперёд днём и часом, но предчувствие всегда можно иметь.

СРЕДНИЙ. А ты предсказал день и час!

СМЕРДЯКОВ. А насчет моей болезни падучей-с осведомитесь всего лучше, сударь, у докторов здешних, истинная ли была со мной, али не истинная, а мне и говорить вам больше на сей предмет нечего.

СРЕДНИЙ. А погреб-то как ты предузнал?

СМЕРДЯКОВ. Дался вам этот самый погреб! Я тогда, как в этот погреб полез, то в страхе был и в сумлении, потому больше в страхе, что вас лишимшись, и ни от кого уже защиты не ждал в целом мире. Потому что, конечно, спастись мог, чтобы ваш братец старший не сделали какого скандалу, и самые эти деньги не унесли, так как их всё равно что за свои почитали, а вот кто же знал, что таким убийством кончится? Думал, они просто только похитят эти три тысячи рублей, что у барина под тюфяком лежали-с, в пакете-с, а они вот убили-с.

СРЕДНИЙ. Хитришь ты со мной, чёрт тебя дери!

СМЕРДЯКОВ. А я уже, признаться, тогда подумал, что вы уж совсем догадались.

СРЕДНИЙ. Кабы догадался! Конечно, надо было догадаться. Да я и догадывался о чём-нибудь мерзком с твоей стороны! Только ты врешь, опять врешь. Помнишь, как ты сказал мне: с умным человеком и поговорить любопытно.

СМЕРДЯКОВ. Я вам те самые слова не в похвалу тогда произнёс, а в попрёк-с.

СРЕДНИЙ. В какой попрёк?

СМЕРДЯКОВ. А то, что предчувствуя такую беду, собственного родителя защитить не хотите.

СРЕДНИЙ. Ты думал, что все такие трусы, как ты?

СМЕРДЯКОВ. Простите, подумал, что и вы, как и я.

СРЕДНИЙ. Если я и подумал тогда о чём, то это про мерзость какую-нибудь, единственно с твоей стороны. Брат мог убить, но что он украдёт — я тогда не поверил. А с твоей стороны всякой мерзости ждал. Сам же ты мне сказал, что притворяться в падучей умеешь, для чего ты это сказал?

СМЕРДЯКОВ. По единому моему простодушию. Так, чтобы похвалиться перед вами сказал. Одна глупость-с. Я понимаю: брат ваш на меня свалить желают, что это моих рук дело-с. Этот уже слышал-с. Но вот уже хоть это самое, что я в падучей представляться мастер: ну сказал бы я вам наперёд, что представляться умею, если б у меня в самом деле какой замысел тогда был на родителя вашего? Коль такое убийство уж я замыслил, то можно ли быть столь дураком, чтобы вперёд на себя такую улику сказать, да ещё сыну родному, помилуйте-

с? Похоже это на вероятие? Это, чтоб это могло-с быть, так, напротив, совсем никогда-с. Вот теперь нашего разговору никто не слышит-с, кроме самого провидения-с. Ибо что за злодей такой, коли заранее столь простодушен? Все это рассудить очень могут.

СРЕДНИЙ. Слушай, я тебе вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять... Пока процвай, выздоравливай...

С НАПРАВЛЕНИЕМ. А нашли его лежащим на полу, навзничь в своём кабинете, с проломленной головой.

СТАРШИЙ. Страшно это, господа!

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Но мы будем продолжать. Итак, что же руководило вас в ваших чувствах ненависти? Вы, кажется, заявили, публично, что чувство ревности?

СТАРШИЙ. Ну да, ревность, и не одна ревность.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Споры из-за денег?

СТАВРШИЙ. Ну да, из-за денег.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Кажется, спор был в трёх тысячах, будто бы не отданных вам по наследству.

СТАРШИЙ. Какое трёх. Больше, больше, больше шести, больше десяти, может быть. Я всем говорил, всем кричал! Но я решил, уж так и быть, помириться на трёх тысячах. Мне до зарезу нужны были эти три тысячи! Так что тот пакет с тремя тысячами, который, я знал, у него под подушкой, приготовленный для Грушеньки, я считал решительно как бы у меня украденным, вот что, господа, считал своим, всё равно, как мою собственностью...

ЧЕРТИ перемигиваются.

Господа, я ведь понимаю же, что это опять-таки на

меня улика, но я не боюсь улик и сам говорю на себя. Слышите, сам! Видите, господа, вы, кажется, принимаете меня совсем за иного человека, чем я есть. С вами говорит благородный человек, благороднейшее лицо, главное — этого не упускайте из виду — человек, надевавший бездну подлостей, но всегда бывший и оставшийся благороднейшим существом, как существо, внутри, в глубине, ну, одним словом, я не умею выразиться... Именно тем то и мучился всю жизнь, что жаждал благородства, был, так сказать, страдальцем благородства и искателем его с фонарём, а между тем всю жизнь делал одни только пакости, как и все мы, господа... то есть как я один, господа, не все, а я один, один, один!.. Господа, у меня голова болит. Видите, господа, мне не нравилась его наружность, что-то бесчестное, похвальба и попираание всякой святыни, насмешка и безверие, гадко, гадко! Но теперь, когда уж он умер, я думаю иначе.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Как это иначе?

СТАРШИЙ. Не иначе, но я жалею, что так его ненавидел.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Чувствуете раскаяние?

СТАРШИЙ. Нет, не то чтобы раскаяние, но сам-то я не хорош, господа вот что, сам-то я не очень красив, а потому и права не имею его считать отвратительным, вот что! Но, господа, эта женщина — царица души моей! О, позвольте мне это сказать, это-то я уж вам открою... Я ведь вижу же, что я с благороднейшими людьми. Это свет, это святыня моя, и если б вы только знали! И главное, не ройтесь вы так в душе моей, не терзайте её пустяками. Мелочи к чёрту!

ЧЕРТИ переглядываются.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Вы не поверите, как вы нас самих ободряете вашей этой готовностью...

РЕТРОГРАДНЫЙ. И вы справедливо сейчас заметили насчёт этой взаимной нашей доверенности, без которой иногда даже и невозможно в подобной важности делах. С нашей стороны мы употребим всё, что от нас зависит, и вы сами могли видеть даже и теперь, как мы ведём это дело...

С НАПРАВЛЕНИЕМ. О, без сомнения.

ЧЕРТИ увлекают старшего.

БЕСЕНОК. Я знаю — ты ушёл из монастыря.

МЛАДШИЙ (*в мирском*). Почему вы узнали?

БЕСЕНОК. Подслушивала. В келье-то. Что ты так на меня уставился? Хочу подслушивать и подслушиваю, ничего тут нет дурного. Знаешь ли, что ты женщине в мужья не годишься. Например, выйдет она за тебя, а потом даст записку, чтоб снести тому, которого полюбит после — ты возьмешь и непременно отнесёшь. Да ещё ответ принесёшь. И сорок лет тебе придёт, а всё будешь женины записки носить.

МЛАДШИЙ. В вас что-то злобное и в то же время простодушное.

БЕСЕНОК. Какой ты всё ж таки хорошенький! Тебя ужасно может девушка полюбить уже за то, что ты так скоро позволяешь себя не любить. Ах, а девушки — они хотят, чтоб их кто-нибудь истерзал. Женился, потом истерзал, обманул и ушёл, уехал. Кто ж это нынче хочет

быть счастливым!

МЛАДШИЙ. Это к беспорядку любовь.

БЕСЕНОК. Ах, хочу беспорядка! Например, чтобы дом зажечь. Эдак потихоньку, потихоньку: они-то тушат, а дом-то горит! А ты знаешь про то и молчишь. Впрочем, глупости. И как скучно. Вот, слушай, тут одному современному русскому прогрессисту намедни сон приснился — будто бы он на другую планету попал. Всё точно так же как здесь, у нас, но только, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, достигнутым, наконец, торжеством. Ну, натурально ласковое море, прекрасные деревья во всей прелести своего цвета, мурова горит яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетают в воздухе. А люди-то живут — прекрасные как дети: лица разумные, глаза сверкают ясным блеском, в словах и голосах — детская радость...

МЛАДШИЙ. Это что же — рай?

БЕСЕНОК. Ну, это как посмотреть. Грешная-то душа — она и во всё по своему адресу стремится. Так ты послушай: господин, которому сон-то снится, стал жить среди них. А они-то блуждают по своим прекрасным полям и рощам, резвы и веселы, песни поют, питаются медом деревьев и молоком животных. И такая всеобщая влюблённость друг в друга. И господина нашего они всё тормозили и невинно целовали, ну а он — что ж, он их всех развратил! Да, тем дело и кончилось: он заразил собою всю эту счастливую, безгрешную землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. Всё, может, началось с невинной шутки, с кокетства, вот как у нас с тобой, с любовной игры, но быстро родилось сладострастие, оно породило ревность, рев-

ность-жестокость...

МЛАДШИЙ. Что за притча такая? К чему?

БЕСЁНОК. Здесь вот что характерно: прогрессисту-то сперва приснилось, что он застрелился — бабахнул эдак в сердце себе из пистолета. И что это всё с ним происходит заместо, как бы несомненного, небытия... Так вот, обитатели, значит, этой самой планеты, как сделались злы, то начали, конечно, говорить о братстве и гуманности. Стали преступны и изобрели справедливость, — а с нею и гильотину. Ну и, конечно, науку, и демократию, и парламент. И пуще всего задумались, как бы теперь всем вновь устроиться, чтобы каждому, не переставая себя любить больше всех, в то же время не мешать никому другому...

МЛАДШИЙ. И что ж теперь?

БЕСЁНОК. Не застрелился. Проповедует. Мол, рай на земле таки возможен, люби только другого как себя. А тебе, монашек, тебе-то, небось, другие сны снятся. С того и свою долгополую-то ряску скинул?

МЛАДШИЙ. Есть минуты, когда люди любят преступление.

БЕСЁНОК. О, прекрасную мысль сказал: любят, все любят, всегда, а не то что «минуты». Говорят, что ненавидят дурное, а про себя его любят. Вот про твоего старшего брата все говорят, что он отца любил, и все любят его за то.

МЛАДШИЙ. Любят, что отца любил?

БЕСЁНОК. Любит, все любят. Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят!

МЛАДШИЙ. В этих словах есть несколько правды.

БЕСЁНОК. Ах, какие у нас мысли! Это у монаха-то! А

ведь я и твой сон могу пересказать, смешной сон: снятся тебе иногда во сне черти? Во всех углах, и под столом, и двери отворяют, и их там за дверями толпа, и им хочется войти и тебя схватить. И уж подходят, уж хватают...

МЛАДШИЙ. У меня бывал этот самый сон.

БЕСЁНОК. И ты вдруг перекрестишься, да? И они все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. Хочется тебе вдруг вслух начать Бога бранить? Как начнёшь бранить, то они-то вдруг опять толпою к тебе, и хватают тебя опять, а ты вдруг опять перекрестишься — а они все назад. Весело? Ужасно весело, дух замирает... *(Толкает к Среднему.)*

СРЕДНИЙ. Чего тебе? Что бежишь за мной — думаешь я сумасшедший.

МЛАДШИЙ. У тебя очень больное лицо, очень!

СРЕДНИЙ. А ты знаешь, как сходят с ума?

МЛАДШИЙ. Нет, не знаю. Полагаю, что много разных видов сумасшествия...

СРЕДНИЙ. А над самим собою можно наблюдать, как сходят с ума?

МЛАДШИЙ. Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком состоянии.

СРЕДНИЙ. Ну вот и перемени, пожалуйста тему... Кто же отца-то убийца?

МЛАДШИЙ. Только не он, не брат. Не может быть, не он отца убил...

СРЕДНИЙ. Кто же по-твоему?

МЛАДШИЙ. Ты сам знаешь кто.

СРЕДНИЙ. Да кто, кто? Уж не о помешанном ли ты идиоте, об этом эпилептике Смердякове?

МЛАДШИЙ. Я одно только знаю — убил отца не ты!

СРЕДНИЙ. «Не ты»? Что такое «не ты»?

МЛАДШИЙ. Не ты отца убил, не ты!

СРЕДНИЙ. Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь?

МЛАДШИЙ. Ты сам себе несколько раз говорил, что убийца — ты!

СРЕДНИЙ. Когда я говорил? Когда я говорил?

МЛАДШИЙ. Ты говорил себе это много раз, когда оставался один. Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, — не ты! Меня Бог послал тебе это сказать.

СРЕДНИЙ. Ты был у меня?

МЛАДШИЙ. Когда?

СРЕДНИЙ. Ты был у меня, когда он приходил? Признавайся, ты его видел, видел?

МЛАДШИЙ. Ты про кого говоришь, про брата?

СРЕДНИЙ. Не про, него, к чёрту изверга! Разве ты не знаешь, что он ко мне ходит?

МЛАДШИЙ. Кто — он? Я не знаю, про кого ты говоришь.

СРЕДНИЙ. Нет, ты знаешь... иначе как же ты бы... не может быть, чтобы ты не знал...

МЛАДШИЙ. Брат, я сказал тебе это, потому что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал: не ты. Слышишь, на всю жизнь!

СРЕДНИЙ. Послушай, я пророков и эпилептиков не терплю. Посланников Божиих особенно. Прошу сей же час меня оставить... Смердяков, Смердяков! Ты? Да ты и впрямь болен.

СМЕРДЯКОВ. *(в длинных белых чулках)*. Сами, кажись, больны, ишь, осунулись, лица на вас нет.

СРЕДНИЙ. Оставь моё здоровье...

СМЕРДЯКЛВ. А чего у вас глаза пожелтели? Совсем белки жёлтые. Мучаетесь что ли очень? И чего вы ко мне пристаёте?

СРЕДНИЙ. Э, чёрт, да мне до тебя дела нет.

СМЕРДЯКОВ. А чего вы всё беспокоитесь? Вам-то ведь ничего не будет, уверьтесь же наконец. Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.

СРЕДНИЙ. Не понимаю тебя... Чего мне бояться?

СМЕРДЯКОВ. Не понимаете? Охота ж умному человеку такую комедию из себя представлять? Говорю вам, нечего вам бояться. Ишь, руки трясутся, с чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой. Не вы убили.

СРЕДНИЙ. Знаю, что не я.

СМЕРДЯКОВ. Зна-е-те?

СРЕДНИЙ (*кричит*). Говори всё, гадина! Говори всё!

СМЕРДЯКОВ (*с ненавистью*). Ан вот вы-то и убили, коли так! Вы убили, вы главный убивец и есть. А я только вашим приспешником был, слугою верным, и по слову вашему дело это и совершил.

СРЕДНИЙ. Совершил? Да разве ты убил?

СМЕРДЯКОВ. Да неужто вы и вправду ничего не знали?

СРЕДНИЙ. Знаешь что, я боюсь, что ты сон, что ты призрак передо мной сидишь?

СМЕРДЯКОВ. Никакого тут признака нет, кроме нас обоих-с, да ещё некоторого третьего. Без сумления, тут он третий, третий этот находится, между нами двумя.

СРЕДНИЙ. Кто он? Кто находится? Кто третий?

СМЕРДЯКОВ. Третий это — Бог-с, самое это провидение-с, тут оно теперь подле нас-с, только вы не ищите

его, не найдёте.

СРЕДНИЙ. Ты солгал, что ты убил. Ты или сумасшедший, или дразнишь меня как и в прошлый раз!

СМЕРДЯКОВ. Подождите-с. *(Долго копается, вынимает из чулка пачку.)*

СРЕДНИЙ. Сумасшедший!

СМЕРДЯКОВ. Вот-с.

СРЕДНИЙ. Что?

СМЕРДЯКОВ. Извольте-с взглянуть... пальцы-то у вас всё дрожат, в судороге-с... Вот здесь-с, все три тысячи, хоть не считайте. Примите-с.

СРЕДНИЙ. Ты меня испугал... с этим чулком.

СМЕРДЯКОВ. Неужто, неужто вы до сих пор не знали?

СРЕДНИЙ. Нет, не знал. Я всё на брата думал. Брат! Брат! Ах! *(Хватается за голову.)*

СТАРШИЙ *(вырываясь из рук чертей)*. Господа! Вы на меня не ропщите за мою брыкливость, очень прошу: поверьте раз и навсегда, что я чувствую полную почтительность и понимаю настоящее положение дела. Не думайте, что я пьян. Я уж теперь отрезвился. Да и что пьян — не мешало бы вовсе. А, впрочем, я вижу, господа, что мне пока ещё неприлично острить между вами, то есть пока не объяснимся. Понимаю же я теперешнюю разницу: ведь я все-таки перед вами преступник сижу, вам, стало быть, в высшей степени неровня. Но согласитесь и в том, что ведь вы можете самого Бога сбить с толку такими вопросами: где ступил, как ступил, и во что ступил? Ведь я собьюсь, если так, а вы сейчас лыко в строку и запишите, и что ж выйдет? Кого убил? Кого обокрал? Ха-ха! Ведь это ваша казёнщина, это ведь

у вас правило, вот на чём вся ваша хитрость-то зиждется!

Черти понимающе смеются.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Мы, однако, так и начали с вами первоначально, что не стали сбивать вас вопросами: как вы встали поутру и что скушали...

СТАРШИЙ. Понимаю, понял и оценил, и ещё более ценю вашу доброту со мною. Мы тут трое сошлись люди благородные, и пусть всё у нас так и будет на взаимном доверии. Во всяком случае, позвольте мне считать вас за лучших друзей моих в эту минуту. Ведь не обидно это вам, господа?

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Напротив, напротив.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Вы всё это так прекрасно выразили.

СТАРШИЙ. А мелочи, господа, все эти крючкотворные мелочи прочь. А то это просто выйдет чёрт знает что, ведь не правда ли?

РЕТРОГРАДНЫЙ. Чистая правда.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. А знаком ли вам этот предмет?
(Достает пестик.)

СТАРШИЙ. Ах, да! как не знаком! Дайте-ка посмотреть... А, чёрт, не надо!

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Но какую же цель имели вы в предмете, вооружаясь таким оружием?

СТАРШИЙ. Какую цель? Никакой цели! Захватил и побежал. Наплевать на пестик! Ну, от собак прихватил. Ну, темнота... Ну, на всякий случай. Ну, для чего в таких случаях берут что-нибудь в руку? Я не знаю, для чего. Схватил и побежал... Видите, господа, мне всё мерещит-

ся... я видите, вижу иногда во сне один сон... один такой сон, и он мне часто снится, повторяется, что кто-то за мной гонится, кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в темноте, ночью ищет меня, а я прячусь куда-нибудь от него за дверь или за шкаф, прячусь униЗИтельно, а, главное, ему отлично известно, куда я от него спрятался, но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться...

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Это вы видите такие сны?

СТАРШИЙ. Да, такие, вижу сны.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Но всё же любопытные у вас сны.

СТАРШИЙ. Теперь уж не сон. Реализм, господа, реализм действительной жизни. Я — волк, вы — охотники, ну и травите волка.

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Вы напрасно взяли такое сравнение...

СТАРШИЙ. Вот как было, господа. Слезы ли чьи, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — не знаю, но чёрт — чёрт был побежден! Да, я пришел к отцу, да — тайные знаки подал, чтоб окно отворил, да — выхватил пестик и — бросился от окна к забору! Что, ни одному слову не верите? Ведь понимаю же, что до главной точки дошёл: старик с проломленной головой, а я — трагически описав, как хотел убить и как уже пестик выхватил, а вдруг от окна убегаю... Поэма! В стихах! Можно поверить на слово молодцу! Ха-ха, насмешники вы, господа!

С НАПРАВЛЕНИЕМ. А какие же это знаки?

СТАРШИЙ. А вы не знали? Знали-то о знаках покойник, я да Смердяков, вот и всё, да ещё небо знало, да

оно ведь вам не скажет. Да, слуга Смердяков и ещё небо. Запомните про небо, это будет не лишним. Да и вам самим Бог понадобится.

С НАПРАВЛЕНИЕМ (*другому Черту*). А ведь если знал про эти знаки Смердяков, то не он ли, простучав условленное, заставил себе отпереть и затем... совершил преступление? (*Старшему*) А?

СТАРШИЙ. Поймали лисицу! Вы ведь так и думали, что я сейчас закричу во все горло: ай, это Смердяков, вот убийца! Слушайте, я с самого начала подумал, сразу мысль мелькнула — Смердяков! И не отставал Смердяков от души! И теперь подумал, но тотчас же рядом — нет, не Смердяков. Не его это дело. Они низжайшей породы и трус. Это совокупление всех трусостей в мире вместе взятых, ходящее на двух ногах. Он родился от курицы. Это болезненная курица с падучей болезнью. Разве это натура? Да и за что ему убивать старика? Ведь он, может быть, сын его, побочный сын, знаете вы это?

С НАПРАВЛЕНИЕМ. Премилая гипотеза. Вот всё и объясняется. Незаконный сын, отверженный родителем, жертва нравов, так сказать, застарелых нравов прежнего строя и системы, продукт погружённой в беспорядок России... (*Другому Черту*) Каково звучит, недурно, а?

РЕТРОГРАДНЫЙ (*кисло*). Но ведь вот и этот — тоже сын отца своего.

СТАРШИЙ. Подло, подло! Потому что я не убил, не убил! В такой случае — чёрт отца убил. О, это чёрт сделал, через чёрта, и все об этом узнали! Я вам теперь уже во всей моей inferнальности признаюсь — чёрт это был! Чёрт!

РЕТРОГРАДНЫЙ (*пожимая плечами, отворачиваясь к Среднему*). Или вот, например, спириты... я их очень люблю... вообразите, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. Это, дескать, доказательство. Но если даже доказан чёрт, то ещё неизвестно — доказан ли Бог!

СРЕДНИЙ. Я теперь точно в бреду... Мне чего-то стыдно... (*Ретроградному чёрту*) Вот и в прошлый раз — спал ли я или видел тебя наяву?

РЕТРОГРАДНЫЙ. Мне нравится, что с тобой мы стали прямо на «ты».

СРЕДНИЙ. Дурак, что я тебе «вы» что ли стану говорить. Я теперь весел, только в виске болит... и темя... только, пожалуйста, не философствуй. Если не можешь убраться, то про что-нибудь весёлое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею, не свезут в сумасшедший дом!

РЕТРОГРАДНЫЙ. Приживальщик, восхитительно, кто я на земле, как ни приживальщик? Кстати, ты меня как будто начинаешь помаленьку принимать, за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию...

СРЕДНИЙ. Ни одной минуты! Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак, ты моя галлюцинация. Я, может быть, тебя только во сне вижу, а вовсе не наяву... Только все скверные мои мысли берешь, а, главное, глупые. Ты глуп и пошл. Нет, я тебя не вынесу. Что мне делать?

РЕТРОГРАДНЫЙ. По обыкновению принято в обществе, что я — падший ангел. Ей Богу не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Но я людей люблю искренне — о, тут меня во многом

оклеветали! Ведь я и сам, как и ты же, страдал от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Я здесь хожу и мечтаю. К тому же на земле я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить. Моя мечта — это воплотиться, но что б уж окончательно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху, войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца... Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не в себе...

СРЕДНИЙ. Дурак!

РЕТРОГРАДНЫЙ. Зато ты-то как умён. Я ведь не то чтоб из участия, а так. Теперь вот ревматизм опять-таки...

СРЕДНИЙ. У черта — ревматизм?

РЕТРОГРАДНЫЙ. Да вот простудился. Только не у вас, а ещё там...

СРЕДНИЙ. Где там?

РЕТРОГРАДНЫЙ. Самым естественным образом. Поспешал я на один дипломатический вечер, ну, фрак, белый галстук, перчатки, и однако, я был бог знает где, и предстояло ещё перелететь пространство, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то — ведь это такой мороз. А тут, представь, во фраке и в открытом жилете. На тридцати градусах язык к топору мгновенно примерзает, а на ста пятидесяти градусах-то мороза...

СРЕДНИЙ. А там может случиться топор?

РЕТРОГРАДНЫЙ. Топор?

СРЕДНИЙ. Ну да, что станется с топором?

РЕТРОГРАДНЫЙ. Что станется с топором в пространстве? Ну, примется, я думаю, летать вокруг земли в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захож-

дение топора, занесут в календарь...

СРЕДНИЙ. Ты глуп ужасно! Ври умнее. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить, что ты есть! Не поверю! Мне скучно с тобой.

РЕТРОГРАДНЫЙ. К сожалению, правда всегда бывает неостроумна. Ты, я вижу, решительно ждёшь от меня чего-нибудь великого, а, может быть, и прекрасного. Умерь свои требования. Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, гремя и блистая, с опалёнными крыльями, а предстал в таком скромном дружеском виде. Ты оскорблён в эстетических чувствах своих? В гордости: как, мол, мог прийти ко мне такой пошлый чёрт? Есть-таки в тебе эта романтическая струйка... Нет, мне бы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить.

СРЕДНИЙ. Уж и ты в Бога не веришь?

РЕТИРОГРАДЫЙ. То есть, как тебе сказать, если ты серьезно.

СРЕДНИЙ. Есть Бог или нет?

РЕТРОГРОАДНЫЙ. Голубчик мой, ей богу не знаю — вот великое слово сказал...

СРЕДНИЙ. Не знаешь, а Бога видишь. Нет, ты не сам по себе, ты дрянь, ты моя фантазия... Ну вот, скажи, какие муки у вас на том свете?

РЕТРОГРАДНЫЙ. Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было и так, и сяк, а ныне все больше нравственные пошли, угрызений совести и весь этот вздор. Ну и кто же выиграл? Выиграли одни бессовестные, зато пострадали люди порядочные, у которых ещё оставалась совесть и честь... То-то вот реформы на неприго-

товленную почву, да ещё списанные с чужих учреждений — один только вред!.. И все-таки, ты в меня веришь. По азарту, с каким отвергаешь меня судя...

СРЕДНИЙ. На сотую долю не верю!

РЕТРОГРАДНЫЙ. Но на тысячную, а? Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, ну на десятитысячную...

СРЕДНИЙ. Впрочем, я желал бы в тебя поверить.

РЕТРОГРАДНЫЙ. Эге, вот признание! Но я добр, я тебе и тут помогу. Цель благородная: я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб.

ССРЕДНИЙ. Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?

РЕТРОГРАДНЫЙ. Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренне желает добра. Но здравый смысл удерживает меня в границах. По долгу службы и по социальному положению я принуждён иногда задавливать в себе хорошие моменты, оставаясь при пакосях. Иначе исчезнет необходимый минус и начнётся во всем мире благоразумие, и с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться. Так что пока исполняю своё предназначение: губить тысячи, чтобы спасся один.

СРЕДНИЙ. Это не сон, это всё есть и было... (*Младшему*) Что тебе надо? В двух словах, слышишь, в двух словах?

МЛАДШИЙ. Смердяков повесился!

Появляется СМЕРДЯКОВ, по-прежнему в белых чулках, но с гитарой, с обрывками веревки на шее.

СМЕРДЯКОВ. Истребил жизнь свою своею собственной волей и охотой, чтобы никого не винить. *(Поёт)*
Ах, поехал Ванька в Питер, я не буду его ждать...

СРЕДНИЙ *(Смердякову)*. Слушай, ты один убил? Без брата или с братом?

СМЕРДЯКОВ. Всего только вместе с вами-с, с вами вместе убил-с.

СРЕДНИЙ. Обо мне потом. Чего это я всё дрожу...

СМЕРДЯКОВ. Все тогда смелы были-с, всё, дескать, позволено, говорили-с, а теперь вот так испугались! Лимонад очень освежить может.

СРЕДНИЙ. Не хочу лимонаду. Как ты это сделал?

СМЕРДЯКОВ. Самым естественным манером сделано было-с, с наших тех самых слов. Я упал тогда в погреб...

СРЕДНИЙ. Притворился в падучей?

СМЕРДЯКОВ. Понятно, что притворился. Во всём притворился. И ждал вашего старшего братца-с?

СРЕДНИЙ. Как ждал? К себе?

СМЕРДЯКОВ. Зачем ко мне. В дом ждал.

СРЕДНИЙ. А если б не пришёл?

СМЕРДЯКОВ. Тогда ничего и не было бы. Без них не решился бы. А ведь деньги-то бы они никогда не нашли-с, даже если бы и отца убили-с. Старик деньги-то из-под тюфяка перепрятал за образа, я один только знал.

СРЕДНИЙ. А если б он не убил?

СМЕРДЯКОВ. А они и не убили-с. Теперь не хочут лгать, но только вы виновны во всём-с. Вы самый законный убивец и есть!

СРЕДНИЙ. Почему, почему, я убийца? О Боже!

СМЕРДЯКОВ. Жажду имели в смерти родителя-с.

СРЕДНИЙ. Так имел, так имел я эту жажду, имел?

СМЕРДЯКЛВ. Несомненно имели-с и это дело мне молча разрешили. А пресс-папье у них на столе чугунное, помните-с, фунта три в нём будет, размахнулся да сзади его в самый висок углом...

СРЕДНИЙ. Слушай, слушай... я много хотел спросить тебя ещё, но забыл... Я всё забываю и путаюсь... Так неужели, неужели ты тогда всё на месте и решил?

СМЕРДЯКЛОВ. Помилосердствуйте, заранее всё обдуманно было.

СРЕДНИЙ. Ну... ну тебе, значит, сам чёрт помогал! Но я знал, я знал, что ты повесишься. Это он мне сказал.

МЛАДШИЙ. Кто он?

СРЕДНИЙ. Улизнул. Тебя испугался голубя. Это был не сон. Но он ужасно глуп, ужасно.

МЛАДШИЙ. Про кого ты говоришь, брат?

СРЕДНИЙ. Про чёрта. Он ко мне повадился. Ко всем нам. Он в баню ходит мыться. Мелкий чёрт. Его раздень — хвост длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый... Дразнил меня: совесть, что совесть, я сам её делаю... Это он говорил.

МЛАДШИЙ. А не ты?.. Ну и пусть его, брось его, забудем о нём. Пусть он унесёт с собою всё, что мы здесь проклинаяем. И никогда не приходит!

СТАРШИЙ. Слышите, слышите? Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь! Ведь, может быть, я очищусь, господа, а? Но услышьте, однако, в последний раз: в крови отца моего неповинен! Принимаю казнь не за то,

что убил его, а за то, что хотел убить и, может быть, в самом деле убил бы... Что ж, пропала моя голова! В сущности, если всё целое взять — Бога жалко!

МЛАДШИЙ. Как Бога жалко?

СТАРШИЙ. Химия, брат, химия. Ну да что ж, я в себе нового человека ощутил. Воскрес во мне новый человек! Был заключён во мне, но никогда бы не явился, если б не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, — не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтоб не отошёл от меня воскресший человек. Вот снился мне недавно странный сон, брат. Совсем не к месту и не ко времени. Вот будто бы еду в степи в слякоть на телеге, везёт меня мужик. Снег валит хлопьями, да тут же и тает. Бойко везёт мужик, славно помахивает, хороший ямщик, длинная такая у него борода. И вот селение недалёко, избы пречёрные, а половина погорела, только обгорелые бревна торчат. А при въезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, все худые, испытые, коричневые лица у них. А одна о краю такая костлявая, высокого роста, лет, может, сорок может — всего двадцать, лицо длинное, худое, груди у неё, должно быть, иссохшие, а на руках, плачет ребёночек. Плачет и ручки протягивает, от холоду сизые. «Чего они плачут?», — спрашиваю, пролетая. «Дитё, — отвечает ямщик, — дитё плачет». И поражает, что он сказал по-своему, по-мужицки «дитё», а не дитя. И нравится: жалости больше. «Да отчего плачет?», — спрашиваю. «А иззябло дитё», — отвечает ямщик. «Почему, почему?», — всё спрашиваю, как дурак. «А бедные, погорелые, хлебушко нетути». «Нет, ты скажи, скажи: почему погорелые ма-

тери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему степь голая?» Скажи мне теперь, брат: зачем мне приснилось это «дитё». Это пророчество было в ту минуту. Вот за «дитё» я теперь и пойду. Потому что все за всех виноваты. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю! О, да мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог даёт радость, это его привилегия великая... Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землёй без Бога? И тогда мы, подземные человеки, запоём из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость! Люблю его! Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землёю! А брат наш средний, у него Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал — молчит. Но я тебе тайну открою. Я хоть и говорю что брат над нами высший, но ты у нас херувим. Я тебе только идею открою, без подробностей, а ты стой и молчи. Ни вопроса. Впрочем, Господи, куда я глаза твои дену, боюсь, глаза твои скажут мне решение, хоть бы ты и молчал. Слушай: брат мне предлагает бежать. В Америку с Грушей. Ведь я без Груши жить не могу. Прежде меня только изгибы inferнальные томили, а теперь я вою её душу в свою принял и через это сам человеком стал... Верен ей буду как семьсот пуделей... А с другой стороны — совесть. От страдания ведь бегу. Было указание — отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом. Брат говорит, впрочем, что в Америке пользы можно больше принести, чем под землёй. Ну а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка — опять суета. От

распятыя убегаю, вот что!

МЛАДШИЙ. Скажи мне одно, кто это первый выдумал? Брат?

СТАРШИЙ. Он, он выдумал, он настаивает! Не просит, а велит. Хотя я ему всё сердце вывернул, и про гимн говорил. Но он — до истерики хочет! Главное — деньги: десять тысяч, говорит, тебе на побег, а двадцать — на Америку. А на десять тысяч, говорит, — мы великолепный побег устроим...

СРЕДНЕГО черти поддерживают за локотки. Он явственно болен, обращается в публику.

СРЕДНИЙ. Не беспокойтесь, я достаточно здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное... Я, как та крестьянская девка... знаете как это: захощу — вскоцу, захощу — не вскоцу. За ней ходят с сарафаном, али с панёвой что ли, чтоб она вскочила, чтоб завязать и венчать везти, а она говорит: захощу — вскоцу, захощу не вскоцу... Это в какой-то нашей народности... А вот (*вынимает пачку денег*), вот деньги, те самые... которые лежали в том пакете и из-за которых отца убили. Куда положить?.. Получил от Смердякова, от убийцы. Был у него, когда он повесился.

СМЕРДЯКОВ скалится, кивает, закидывает петлю как шарф.

Убил отца он, а не брат. Он убил, а я его научил убить... Но кто не желает смерти отца? То-то и есть, что в уме... и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти... р-рожи! (*Грозит публике.*) Убили отца, а, притво-

ряетесь, что испугались. Друг перед другом кривляетесь — лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину... Не будь отцеубийства — все бы вы рассердились и разошлись злые, а? Зрелищ вам! Хлеба и зрелищ!.. Впрочем, ведь я тоже хорош. Есть у вас вода или нет, дайте напиться, Христа ради!.. Успокойтесь, я не помешанный, я только убийца. С убийцы нельзя же спрашивать красноречия... *(Смеется)* Но то-то и есть, что свидетелей не имею. Собака Смердяков не пришлёт с того света вам показания... в пакете. Вам бы всё пакетов... Нет у меня свидетелей... кроме разве что одного! С хвостом! *(Пытается схватить Ретроградного чёрта под штанами за хвост.)* Нет, не по форме. Дьявол не существует. Не обращайтесь внимания и вы, просто дрянной мелкий чёрт. Вот он, вот. И другой где-нибудь здесь. Слушайте: я ему сказал — не буду молчать, не хочу, а про геологический переворот — глупости! *(Старшему)* Ну, изверг, освобождаю тебя, ты гимн запел, потому что тебе легко. Всё равно как лакей-каналья загорланит как «поехал Ванька в Питер». А я за две минуты радости отдал бы теперь... всё бы отдал, душу бы...

ЧЕРТИ крепко хватают его.

Ну, держите меня, а? О как это всё у вас глупо! Ну, берите же меня, для чего-нибудь же я пришел... Отчего, отчего это всё, что ни есть — так глупо, глупо!..

ЧЕРТИ тащат СРЕДНЕГО брата, тот вопит воплем сумасшедшего. БеЕНОК в дамском, кокетничая, везёт вслед гроб. Они удаляются, СМЕРДЯКОВ идёт позади, наигрывая на гитаре.

СТАРШИЙ. Вот что я решил: если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня ещё ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, ну хуже, может быть, этой. Не хуже, брат, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, чёрт её дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотрите на неё: ну американка ли она? Она русская, вся до косточки... А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? И будь они там все до одного машинисты необъятные какие, али что — чёрт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию, люблю, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! И вот что я решил: мы туда приедем, там тотчас пахать, работать, с дикими медведями, в уединении найдётся же там какое-нибудь место подальше! Ну и тотчас за грамматику. Работа и грамматика, и так года три. В эти три года английскому языку выучимся как самые что ни на есть англичане. И толку что выучимся — конец Америке, бежим! Сюда бежим, в Россию, американскими гражданами. Спрячемся где-нибудь подальше, на север, али на юг. Я к тому времени изменюсь, она там тоже, в Америке, мне доктор какой-нибудь бородавку подделает, недаром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую — авось не узнают. Здесь тоже будем землю пахать, всю жизнь буду американца строить, зато помрём на родной земле! Ах ты, младший Карамазов! Скажи, скажи, брат, неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживём и увидим опять друг друга, и всех, всех?

МЛАДШИЙ. Непременно восстанем, непременно увидим. И весело, радостно расскажем друг другу всё, что было...

За время последнего диалога на прежнем месте в прежней позе из темноты возникает СТАРЕЦ.

СТАРЕЦ. О, есть и по аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой, приобщившеюся сатане и гордому духу его всецело...

Из темноты же выступают остальные персонажи, отдельной от СТАРШЕГО и МАДШЕГО группой.

Для тех ад уже добровольный и ненасытный. Ибо сами продляли себя, продляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своей питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и всё создание своё. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получают смерти...

СЛЕПОЙ ДУЭЛЯНТ

пьеса в 2-х актах по Александру Куприну

ЛИЦА

РОМАШОВ, подпоручик

НАЗАНСКИЙ, поручик

ВЕТКИН, поручик

БОБЕТИНСКИЙ, поручик

БЕК-АГАМАЛОВ, поручик

СЛИВА, капитан

ЛЕХ, подполковник

ШУЛЬГОВИЧ, полковник

ГАЙАН, денщик

ШУРОЧКА

РАИСА

ЛЮБОЧКА

1-ый ЖИД

2-ой ЖИД

Кордебалет

Белый пудель, без слов

НИКОЛАЕВ, поручик, без появлений, но со словами

Расположение шестой роты пехотного полка на Юго-западе России в еврейском местечке на берегу реки Буг. Последние месяцы русско-японской войны 1905 г.

АКТ 1

Офицеры шестой роты за круглым столом проводят спиритический сеанс.

ВЕТКИН. Послушай, Ромашевич, что ж ты так крепко вцепился. Стол не будет двигаться, душа моя. Обидишь духа-то, братец.

ЛЕХ (*сквозь дрему*). Оставьте его, поручик, ему нынче стреляться.

РОМАШОВ. Я ничего, господа, я сейчас... Пардон, господа... (*Сливе*) Но вы, господин капитан, кажется, не на ту букву ведете.

СЛИВА (*ворчливо*). Это вам, либералам, лишь бы все по орфографии... Вам бы и ять отменить...

БОБЕТИНСКИЙ (*с завязанными глазами*). Тише, господа... Кажется, ОН приближается... ОН уже здесь... я вижу его... сейчас, сейчас мы спросим...

ЛЕХ. А кого вызываем, господа? Я... несколько того, зарпортовался... то есть отвлекся.

НАЗАНСКИЙ. Вы спите, господин подполковник. А между тем мы уговорились: ждем самого Пушкина Александра Сергеевича, камер-юнкера и поэта!

ВЕТКИН. И что нам нового скажет этот эфиоп. У него и без нас уж всё давно написано. Я, мол, памятник себе... друг степей калмык... дальше не помню. И какие к нему могут быть вопросы?

РОМАШОВ (*волнуясь*). А по мне так очень даже может ответить... Он — стрелялся!

НАЗАНСКИЙ. И не раз.

ВЕТКИН. Ну и допрыгался. А мог бы еще пару раз банк сорвать.

БЕК-АГАМАЛОВ (*появляясь обок стола, загробно*).
Кавказ подо мною, один в вышине... э-э-э... орел молодой!

НАЗАНСКИЙ. Вечно все путает, азиат.

АГАМАЛОВ. Да что вы, господа офицеры, в самом деле! Что это у вас тут за штосс — без карт?

ВЕТКИН (*Агамалову*). Это мы для разнообразия. А то все карты и водка, водка и карты... Нынче мы спириты.

БОБЕТИНСКИЙ. Ах, я устал. (*Срывает повязку, щупает у себя пульс.*) Пульс повышенный... Вы, господа, совсем для телекинеза не годны. Один цинизм. И ни на грош воображения. А тут еще этот дикий джигит!

ЛЕХ (*просыпаясь, удивленно*). Наш медиум и впрямь весь в поту. Что же сказал наш гость?

БОБЕТИНСКИЙ (*кивая на Леха*). Вот, полюбуйтесь, господа. Это какое-то... равнодушие.

ВЕТКИН. Сказал, что, мол, дядя его — честный малый. Вот только немного того... занемог. (*Хлопает себя по шее слева внешней стороной правой ладони.*)

БОБЕТИНСКИЙ (*Веткину*). Вы что ж, и впрямь не верите в спиритизм?

ВЕТКИН. Я и знать не знаю, что это такое. Так, в газетах что-то писали — мол, салонная блажь, наведение, так сказать, мостов с духами, обитателями загробных миров. (*Агамалову*) Духи бывают обоего пола, заметь себе, Бек! Если медиум хорош, то попадаются и дэвицы.

АГАМАЛОВ. Да мне что, мне все равно.

БОБЕТИНСКИЙ. Па-апрошу без фамильярностей. Вам и в голову не приходит, что в царстве духов есть факты телепатические, а есть — телекинетические, есть

телефонические и есть телепластические... Да что говорить, вы, господа, и доктора Шарко, полагаю, не читали.

ВЕТКИН. Нет, мой дорогой, этой науки мы не проходили, чтобы шаркать.

БОБЕТИНСКИЙ. И что это такое — дорогой. Такой-сякой е цетера?.. Мы же не гимназисты какие-нибудь.

РОМАШОВ. Как же так, господа, что ж, сеанса не будет? Я настроился.

ЛЕХ (*Ромашову, отечески*). Милый мой, не о том вам надо бы нынче думать. Не про духов. А Пушкина я и так вам наизусть почитаю: я памятник себе... построил. Нерукотворный... (*Засыпает*)

РОМАШОВ поднимается из-за стола.

АГАМАЛОВ (*всем*). Впрочем, господа, вы правы. Когда скакал сюда верхом на своем гнедом во весь опор, заметил — ходили там две хорошенькие жидовочки. Но я-то, конэшно, что — я нуль внимания...

СЛИВА (*брюзжит*). Знаем, как вы все плохо играете в шашки...

АГАМАЛОВ. Да я шашкой — кому хочешь секир башка!.. (*Понижая голос, кивая на Леха.*) Вчера застал его в буфете полковой командир. А этот пьян, как змий, не может папу-маму выговорить. Стоит, качается, руки за спину заложил. А тот: когда разговариваете с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать!

ВЕТКИН. Крепко завинчено!.. Слушай, Бек, знаешь ты, что командир потребовал по всем ротам рубку чу-чел?

АГАМАЛОВ. И что, рубили? Эй, Ромашов, а вы не пробовали?

РОМАШОВ (*тихо*). Нет еще.

АГАМАЛОВ. Чудак-человек. Да ведь надо же офицеру владеть шашкой!

СЛИВА. Это вам на радость, янычарам мусульманским. А мы, русские: рота, пли!

ВЕТКИН. И дело где? И дело в шляпе.

НАЗАНСКИЙ. А если нанесет оскорбление какой-нибудь штатский фендрик?

РОМАШОВ (*страстно*). Зачем же я буду на него, безоружного,— с шашкой! Если он дворянин — я потребую удовлетворения... Все-таки мы люди культурные.

ВЕТКИН. А если из простого звания — так кулаком в рожу эдак вот. (*Показывает, потом поет:*)

Православный русский воин,
Не считая, бьет врагов!

АГАМАЛОВ (*Веткину*). Тебе говорю — учись рубке! (*Размахивает шашкой.*) У нас на Кавказе одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось!

ВЕТКИН. И ты сам, бек, можешь так?

АГАМАЛОВ. Не могу пока. Барашка молодого пополам — это да. А мой отец делал легко... Главная суть удара не в плече и не в локте. А вот здесь, в сгибе кисти...

РОМАШОВ (*в зал*). Отчего, отчего мне только двадцать три года — а я уже никому не нужен. И кто виноват?.. Она!

Тема из «Пиковой дамы»

РАИСА (*декламирует*). Милый, дорогой, усатенький Жоржик! Ты не был вот уже целую неделю, и я так за тобой соскучилась, что всю прошлую ночь проплака-

ла. Помни одно, если ты хочешь с меня смеяться, то я этой измены не прощу. Один глоток с пузырька морфия, и я перестану навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно сегодня в половине восьмого. ЕГО не будет дома, ОН будет на тактических занятиях (хихикает). И я тебя крепко, крепко, крепко расцелую, как только смогу. Приходи же, целую тебя миллион... Вся твоя Раиса.

Помнишь ли, милая, ветки могучие
Ивы над этой рекой,
Ты мне дарила лобзания жгучие,
Их разделял я с тобой.

И вот еще, милый Жоржик, вы непременно, непременно должны быть в собрании на вечере. Я вас заранее приглашаю на третью кадрили. По значению!

Комната РОМАШОВА.

РОМАШОВ (*валяется на кровати*). И надушено какой-то гадостью... персидская сирень, должно быть... (*Отбрасывает письмо.*) И он рассмеялся гордым презрительным смехом!.. Рыжая, маленькая, лицо лживое... Ненавижу... О, подлость жизни! Гайнан!

ГАЙНАН. Я, ваше благородие!

РОМАШОВ. От поручика Николаева никого не было?

ГАЙНАН. Никак нет, ваше благородие.

РОМАШОВ (*важно, рассудительно*). А какого ты мнения, шер ами, о реставрации монархического начала в современной Франции?

ГАЙНАН (*заученно*). Точно так, ваше благородие, это выходит очень хорошо.

РОМАШОВ. А почему сие важно в третьем?

ГАЙНАН. Сие в третьих не важно.

РОМАШОВ (*горько*). А что, мошенник, осталось у нас в погребе еще шампанское?

ГАЙНАН. Никак нет, ваше благородие, вчера изволили выпить последнюю дюжину.

РОМАШОВ. Говори прямо — все две дюжины... Ладно, давай уж, братец, самовар. Да потом сбегаешь в собрание за ужином. Что уж...

ГАЙНАН (*робея*). Ваше благородие.

РОМАШОВ. Что тебе еще?

ГАЙНАН. Ваше благородие. Хочу тебя, поджаласта, очень просить.

РОМАШОВ. Да не тяни.

ГАЙНАН. Подари мне белый господин.

РОМАШОВ. Что такое? Какой белый господин?

ГАЙНАН. Который ты велел выбросить. Вот этот, вот... (*Показывает на бюст Пушкина.*)

РОМАШОВ. Зачем он тебе? Да, бери, сделай милость. Я так, взял в карты по случаю... Я даже рад. Мне не нужно. Только тебе зачем?

ГАЙНАН мнется.

Ну, да ладно, бог с тобой. Только ты знаешь, кто это?

ГАЙНАН. Я не знаю.

РОМАШОВ. Так знай. Это — Пушкин. Повторяй за мной: Александр Сергеевич.

ГАЙНАН. Бесиев.

РОМАШОВ. Повтори: мой дядя самых честных правил.

ГАЙНАН. Нету дяди.

РОМАШОВ. Повтори, как зовут поэта.

ГАЙНАН. Бесиев.

РОМАШОВ. Бесиев? Пусть будет Бесиев... Ну, ступай, ступай за ужином, Гайнан. И не забудь папирос, а то кончились...

ГАЙНАН уходит.

(Встает с кровати, мотается по комнатке, говорит сам с собою.) И вот что я теперь все сижу, как мальчик, привязанный за ногу. Дверь открыта. Мне хочется идти, куда хочу. А я стою, смотрю на черную щель в полу! Хоть беги на вокзал... А куда еще в этом жидовском местечке: ни одного ресторана... Как раз скоро курьерский, на Пруссию, вон же она, граница с Европой... Паровоз все ближе. Разгораются, растут его огненные глаза. И мгновенно, с шипением и грохотом, останавливается, точно великан, ухватившийся с разбегу за скалу... Пойду к курьерскому... Вот стоит поезд, весь в нарядных огнях, и необыкновенно изящная дама, болтая по-французски, смотрит на меня... Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной фигуре молодого офицера... Куда там, в таких галошах. Тяжелые, резиновые, в полторы четверти глубиной, все доверху будут в густой, как тесто, черной грязи, пока дойдешь... О, подлость жизни!

В окно просовывается голова ШУРОЧКИ.

ШУРОЧКА. Затворник, а, затворник!

РОМАШОВ подскакивает к окну.

РОМАШОВ. Вы? Вы, Шурочка?

ШУРОЧКА. Подайте бедной страннице, калику переходящему. (*Смеется*)

РОМАШОВ. Я ждал вас! Вы, вы мой выход! (*Хватает ее за плечи.*)

ШУРОЧКА. Ромочка! Сумасшедший. Что вы делаете?

РОМАШОВ. Александра Петровна! Как мне благодарить вас? Милая, милая...

ШУРОЧКА. Ромочка, да что это с вами? Чему вы так рады? У вас глаза блестят... Пойдите, я вам гостинчик принесла... Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки. Сладкие...

РОМАШОВ. Ах, если бы вы знали, о чем я думал... Ах, если бы только знали!

ШУРОЧКА. Пустите руку. Какой вы сегодня удивительный... даже похорошели.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Это же бог знает что такое! Ты у меня Шура, право, сумасшедшая. Да и вы, Ромашов! Дойдет до командира — что хорошего!

ШУРОЧКА (*быстро*). Только пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе — так, междометие. А я тоже — так, мимо проходила...

ГАЙНАН (*запыхавшись*). Ваше благородие.

РОМАШОВ. Что, где?

ГАЙНАН. Ваше благородие, буфетчик больше не дает ужину. И папиросов не дает. Говорят, вам не велели в долг давать.

РОМАШОВ. Ах, черт! Как же я буду без папирос.

ГАЙНАН. А еще сказали, что вас требуют к себе са-

ми полковник.

РОМАШОВ. Да к чему же? Что ж ты сразу не сказал. Быстро одеваться. Сапоги чищены?..

Тема из «Пиковой дамы».

РАИСА. Я знаю, что мне теперь делать! Если только я не умру на чахотку от вашего подлого поведения, то, поверьте, я жестоко отплачу вам. Может быть, вы думаете, что никто не знает, о ком вы вздыхаете каждый вечер? Слепец. И у стен есть уши. Мне известен каждый ваш шаг. Но все равно, с вашей наружностью и красно-речием, вы ТАМ ничего не добьетесь. Кроме того, что ОН — вы знаете, о ком я — вышвырнет вас за дверь. Как щенка. А со мною советую быть осторожней. Я не из тех женщин, которые прощают нанесенные обиды.

Владеть кинжалом я умею,
Я близ Кавказа рождена!

Прежде ваша, теперь ничья Раиса. Да, непременно будьте в собрании. Нам надо объясниться. Я для вас оставлю третью кадрили. Но теперь уж не по значению...

РОМАШОВ (*натягивая сапоги, одеваясь, про себя*). Его мысли были серы, как солдатское сукно... Как там, в штабе, Гайнан, как тебе показалось?

ГАЙНАН. Командир-то наш — я в щелку видэл — лютый как тигра... Их высокоблагородие просит ваше благородие...

РОМАШОВ (*вспоминает*). Да-да, все завязалось именно тогда, когда я был у командира полка. После Шурочки, после второго, омерзительного и глупого, письма Раисы. И полковник, добрая душа, будто предупредал меня...

У полковника ШУЛЬГОВИЧА. РОМАШОВ стоит навытяжку.

ШУЛЬГОВИЧ. Нехорошо-с. Стыдно-с. Служите без году неделю, а уж начинаете хвостом крутить. Имею многие основания быть вами недовольным. (Кричит). Безобразие! Немыслимо! Разврат!

РОМАШОВ *(про себя)*. Где мое Я? Вот ты и должен стоять навытяжку и молчать...

ШУЛЬГОВИЧ. К тому же, мне доподлинно известно, что вы пьете. Это омерзительно. Мальчишка, только из школы вышел, а напивается как сапожный подмастерье. Я, милый мой, все знаю, не думайте. Мне известно многое, о чем вы и не подозреваете. Что ж, если хотите катиться вниз по наклонной плоскости — воля ваша... Смотрите, не доводите нас до крайности. Вы один, а общество офицеров — это целая семья! Значит, всегда можно и того... за хвост и из компании вон!..

РОМАШОВ *(бледнея, в зал)*. Я молчал! А мне нужно бы было тогда же сказать, что и сам не дорожу этой семьей! Хоть сейчас готов вырваться! *(Покачнулся.)*

ШУЛЬГОВИЧ *(с тревогой, показывая Ромашову на стул)*. Фу, черт... какой же вы обидчивый... Да садитесь же, черт вас задери... Глядите на меня, как на зверя. Кричит, мол, старый хрен без толку, черт бы его драл... А я, ей богу, мой милый, люблю вас всех, как своих детей... Эх, господа, не понимаете вы меня. Ну, ладно, ну, погорячился, перехватил через край. *(Подходит к сервированному столику с закуской и графинами, наливает себе стопку.)*

РОМАШОВ (*про себя*). Мрачное раздумье бороздило его лицо.

ШУЛЬГОВИЧ. А вы водки? Ведь пьете?

РОМАШОВ. Нет. Благодарю покорно. Мне... мне что-то не хочется. (*Закашливается.*)

ШУЛЬГОВИЧ. И пре-екрасно. Это самое лучшее. Желаю вам и впредь так. (*Выпивает.*) А закусь?.. (*Закусывает, наливает еще.*) Если б был я царь — всегда бы ел спаржу! (*Еще наливает, размягчено.*) Вот, послушайте, вспомнил вдруг... Пришли мы, я помню, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах. Я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и ружейные замки. Что у вас такое, спрашиваю? Масло, говорят, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет... Дал я им целковый, забрал флакон, масла оставалось больше половины, червонцев на двадцать... Да ты слушаешь ли?

РОМАШОВ. Так точно, ваше... превосходительство.

ШУЛЬГОВИЧ. Превосходительство... вот чего вздумал. (*Выпивает.*) Да ты ешь, поди еще растешь... Ну, так. А солдаты говорят: вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох. Сколько ни варили — не поддается проклятый. А это кофе был. А я им: это только турку годится, а русскому солдату нейдет. (*Смеется до слез, выпивает.*) Хорошо, опиуму не наелись.

РОМАШОВ (*механически*). Это хорошо, правда.

ШУЛЬГОВИЧ. Или вот еще. Зимой, на Шипке меня в голову контузило. И вот со мной случилось страшное

приключение. Жили мы в землянке. И однажды поутру, едва встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай. Убеждаю себя, что я Яков, и не могу себя переуверить. Тогда закричал, чтоб подали воды, помочил голову, и рассудок мой возвратился... Ты слушай, пригодится. Война, идет, сам понимаешь. Кто знает, как дело повернется, пока поворачивается скверно. Может и тебе придется... Но — не дай тебе бог, это только по молодым годам война кажется приключением. А для тех, кто пороху понюхал... *(Выпивает задумчиво.)* Вот когда я еще прапорщиком был, как ты, был у нас командир бригады. Такой же старикан, как я сейчас. Бывало подойдет на смотру к барабанщику и скажет: сыграй-ка мне, братец, что-нибудь меланхолическое... Так вот, когда выпивал с офицерами, как мы с тобой сейчас, если чувствовал, что уже того, норма, говорил: ну, господа, не обессудьте, я иду в объятия Нептуна. Ему говорят: Морфея, ваше превосходительство. Э, говорит, все одно, из одной минералогии... Так и я — к Нептуну. Не смею задерживать, господин подпоручик.

РОМАШОВ отходит к бильярдному столу, вокруг которого та же компания, что и в первой сцене.

РОМАШОВ *(про себя)*. Ироническая, горькая улыбка показалась на его тонких губах...

ВЕТКИН. Круазе в середину, тонкая резь! Вынимай шара, Бек!

АГАМАЛОВ. Ты сначала делай шара, я потом выну...

Веткин бьет и промахивается.

Я же говорил — смазал. Тогда — желтый дуплет в угол. Как в аптеке будет. (*Бьет.*)

ВЕТКИН. Этого даже я не сделаю. Кикс! Когда ты спышь — храпышь, дюша мой? (*Ромашову*) А, вот и ты, Ромашевич.

БОБЕТИНСКИЙ (*не отрывая глаз от игры, Ромашову, иронически, многозначительно и небрежно*). Вас там одна дама просит в залу, подпоручик.

РОМАШОВ (*рассеянно*). Сегодня ведь вы распорядитель танцев.

БОБЕТИНСКИЙ. Я отказывался... хотел даже написать рапорт о болезни... Неловко в мои годы... Но — сам полковой адъютант упросил. Так, дрюг мой, устроена жизнь — мы не властны... Мон шер ами, а нет ли у вас... как это называется... трех рублей?

РОМАШОВ. К сожалению...

БОБЕТИНСКИЙ. А рубля? И того нет? Ну, дезагри-абль-с... Судьба... Пойдемте в таком случае выпьем водки.

РОМАШОВ. Увы! И кредита нет.

БОБЕТИНСКИЙ. О, повр анфан...

АГАМАЛОВ (*громко*). Не смей под руку говорить! Я игру брошу!

ВЕТКИН. Что ж, ты и так проиграл, бек. Бекицер!

СЛИВА. Вот, научились у жидов, фармазоны. Порусски уж и не скажут.

ЛЕХ (*подходя к Ромашову, пьяно*). Мне вот тут кто-то про поединки толковал. А ты понимаешь, милый, что такое честь мундира? Братец ты мой, это такая штука... Честь, она... Вот у нас однажды в Темрюкском полку...

БОБЕТИНСКИЙ (*с пафосом*). Только кровь может

смыть пятно обиды!

НАЗАНСКИЙ. Я слышу, у вас разговор о дуэлях. Интересно послушать.

ЛЕХ (*Назанскому*). Братец мой, вот я и рассказываю... Когда я служил в Темрюкском полку... у нас однажды один капитан... из строевых...

НАЗАНСКИЙ (*Бобетинскому*). Я полагаю, иногда дуэль полезна, это безусловно. Это вопрос чести дворянской. И каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру...

ВЕТКИН (*помахивая кием*). И чтоб непременно с тяжелым исходом... навывлет. А иначе — это не поединок, так, чепуха французская.

АГАМАЛОВ. Сдаешься, так и скажи.

ВЕТКИН. К твоим услугам, дюша мой...

НАЗАНСКИЙ. Но лучше б этот пыл на дело пустить. К бою припасти. Если бы энергию и пыл всех стреляющихся по гарнизонам офицеров в одно свести — может быть, и Цусимы не было бы.

СЛИВА. Предлагаю выпить тост за нашего обожаемого... (*показывает вверх*) монарха, за которого всякий из нас готов пролить последнюю каплю крови!

Офицеры отворачиваются от него, будто не слышали.

РОМАШОВ (*Назанскому*). Это ты верно говоришь. Я тоже так думаю. Зачем все это — муштра, гарнизон...

НАЗАНСКИЙ. Да не к чему, конечно. Когда б войны не было.

РОМАШОВ. Разве что... А зачем война? Может быть, все это какая-то ошибка, какое-то всемирное заблуждение, помешательство. Разве естественно — убивать?

НАЗАНСКИЙ. Да, неестественно... Но мы ведь — не в Европе живем, кругом — Азия...

Входит РАИСА. РОМАШОВ, видя ее, пытается спрятаться за спину НАЗАНСКОГО.

РАИСА. Господа, ну что же это такое! Дамы давно съехались, а вы тут играете и угощаетесь! Мы хотим танцевать!

ЛЕХ. Божественная! Как начальство только позволяет существовать такой красоте! Дозвольте ручку... лобзнуть.

РАИСА (*Бобетинскому*). А вам и подавно стыдно, господин Бобетинский. Вы на сегодня назначены! Хорош, нечего сказать, дирижер!

БОБЕТИНСКИЙ. Миль пардон, мадам...Се ма фот. Это моя вина! Вотр мэн, мадам, ваш-шу руку...

ЛЕХ (*всем, показывая на Раису*). Это какой же перец! Это какая же восточная пряность!.. Впрочем, такие они все!

РАИСА. Ах, у меня всегда возвышенная температура! Такой уж у меня горячий темперамент! Вы ведь здесь никто не знаете, что у меня мать — гречанка!

РОМАШОВ (*про себя*). Какая же она противная! Боя бать гречадка. Не повышенная температура, а хронический насморк... И лицо его стало непроницаемо, как маска.

РАИСА (*будто услышав, Ромашову*). Здравствуйте. Что же вы не подойдете поздороваться. Я по вашей просьбе оставила вам третью кадрили. Надеюсь, вы не забыли?.. Какой вы нелюбезный. Вам бы следовало сказать: аншанте, мадам!

РОМАШОВ (*подходит к ручке, в сторону*). Адшадте, бадаб.

РАИСА (*всем*). Правда, он мешок?

РОМАШОВ. Как же... я помню... Благодарю за честь.

БОБЕТИНСКИЙ. Кадриль-монстр! Кавалье, ангаже во дам!

Офицеры танцуют.

РАИСА (*едва остаются одни, Ромашову*). Я не позволю так со мною обращаться. Я вам не девочка, слышите? И так порядочные люди не поступают, да!

РОМАШОВ. Не будем сердиться, Раиса.

РАИСА. О, слишком много чести — сердиться. Я могу только презирать вас. Но издеваться над собою я не позволю никому. Отчего вы не потрудились ответить на мои письма?

РОМАШОВ (*запуганно*). Но меня ваши письма не застали дома, клянусь честью.

РАИСА. Глядите на него, он говорит о чести. Вы мне голову не морочьте. Я знаю, чьих записочек вы ждете... Но будьте уверены: я знаю все интриги этой женщины. Этой лилипутки. Только напрасно она много о себе воображает!

РОМАШОВ. О ком вы?

РАИСА. Она дочь проворовавшегося нотариуса.

РОМАШОВ (*не выдерживая*). Я попросил бы... попросил бы не отзываться дурно о моих знакомых!

РАИСА (*на крике*). Да! Да! У нее отец проворовался. Я про нее все знаю! Строит из себя порядочную!

РОМАШОВ (*сам себе*). Вот тогда мне и нужно бы было ее убить. Отравить, зарезать, удавить тайком. И

попроситься на фронт.

БАБЕТИНСКИЙ *(кричит, перекрывая музыку)*. Мазурка женераль! Променад!

РОМАШОВ. Отчего бы нам не расстаться миролюбиво? Вы меня не любите больше. Простимся же добрыми друзьями.

РАИСА. А-а, хотите мне зубы заговорить. Не беспокойтесь, я не из тех, кого бросают. Я сама бросаю, ежели захочу. Но я все не могу надивиться на вашу низость.

БОБЕТИНСКИЙ. Антракт две минуты. Кавалье, оккупе во дам.

СЛИВА. Говорите же, наконец, по-русски, поручик.

БОБЕТИНСКИЙ. Как бы это поточнее перевести. Я попросил господ офицеров ублажить дам.

СЛИВА. Ну, тут их и просить не стоит. По этой части они у нас мастаки. Служить не умеют, а это-о...

РОМАШОВ *(глухо)*. Кончим это скорее. На нас уже смотрят.

РАИСА. Ничего, пусть посмотрят. Вы подло обманывали меня. Я пожертвовала для вас всем, отдала вам все, что может отдать честная женщина. Для вас я забыла обязанности жены. И... и матери. О, зачем, зачем я не осталась верной ему.

РОМАШОВ. Положим. *(Не сдерживается и смеется)*.

РАИСА. Ах, вы имеете наглость смеяться! Хорошо же! Вы меня еще вспомните! Я вам этого так не прощу. Никогда. Я ведь знаю, почему вы так подло, так низко хотите уйти от меня! Так не будет же того, что вы затеяли! Вы обманывали меня, пользовались мною как женщиной... О, подлец-мерзавец!

РОМАШОВ. Вы сами хотели этого.

РАИСА. Прелестно. Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного.

РОМАШОВ (*его несет*). Да-да-да... Вы сами... Но никогда не любили! Вам не нужно было ни нежности, ни любви! Вы слишком мелки для этого. Потому что любить могут только утонченные избранные натуры!

РАИСА (*смеется ему в лицо*). Это вы-то утонченная натура. Избранный слизняк! Ничтожество! О, какого прекрасного человека я обманывала ради этого! Вы добились, чего хотели: я ненавижу вас! Пойдите, вы с ней еще увидите мои когти! Я раскрою глаза этому дураку, ее мужу Николаеву, коли сам не видит, что у него под носом делается. Вы еще услышите обо мне! (Уходит танцевать с одним из офицеров.)

Из залы ВЕТКИН выводит в дым пьяного ЛЕХА.

ВЕТКИН (*по-протодьяконски*). Благослови, преосвященный владыка. Время начать богослужение... (*Сажает Леха в кресло, оборачивается к Ромашову, пьяно.*) Ромаша, друг, иди к столу... раздавим, Жоржинька. Я сегодня богат, как эфиоп! Вчера выиграл и сегодня опять буду играть... Пошлю рубль жидам на свадьбу!

РОМАШОВ (*все еще потрясенный*). Мы все здесь позабыли, что есть другая жизнь! Где-то там... не знаю где... живут совсем другие люди! И жизнь у них такая полная, такая радостная, такая... настоящая! Там любят широко и сильно! Друг мой, как мы живем! Как мы живем!.. Но нет! Человек летал, человек полетит, человек будет счастлив и свободен.

ВЕТКИН. Оно, брат, жизнь конечно — полет... Что

тут говорить... Но, вообще, это брат все одна натурфилософия. И эта... как ее... энергетика.

РОМАШОВ. О, что мы делаем! Сегодня напьемся пьяными! Завтра в роту — раз, два, левой, правой... А вечером снова будем пить! И на другой день — снова в роту. Это вся жизнь! Вы только подумайте, господа, в этом вся жизнь!

ВЕТКИН (*поет*). В тиши жила
В лесу жила,
Веретено крутила,
И ото всей своей души
Прялочку любила...

Плюнь на все, ангел мой, береги здоровье! Как я! Пойдем играть, Ромашевич-Романовский! Займу тебе красненькую. Одно скверно, душа моя — пить ты не умеешь. Как выпьешь рюмку — так и раскисаешь.

СЛИВА. А велят умереть — умрем!

РОМАШОВ. Верно он говорит! Что — умереть, че-пуха умереть... (*Веткину*) Душа у меня болит! (*Озирается*).

ВЕТКИН. Дай я поцелую тебя, дай поцелую. Порусски. В самые губы! (*Пытается поцеловать его, Ромашов неловко уворачивается.*)

РОМАШОВ видит ШУРОЧКУ. Она приветливо машет ему рукой.

ШУРОЧКА. Милый, милый Ромочка, какой вы еще мальчик... вам все рассуждать. А ведь я бы не удивилась, если б вы забыли, что близок день моих именин! Несмотря ни на что, я все-таки хочу вас видеть. Только не приходите поздравлять. А прямо к пяти часам... по-

едем куда-нибудь... *(Смеется, исчезает.)*

РОМАШОВ *(дико)*. Вспомнил!.. Дорогая! Ненаглядная! ангел-спаситель!.. Гайнан, умываться!

Комната РОМАШОВА.

РОМАШОВ *(одеваясь)*. Но что за странная фраза — не смотря ни на что. Так она сказала. И выделила... Значит, что-то есть? Может быть, ее муж, Николаев, на меня сердится? Ревнует? Может быть, какая-нибудь сплетня? Он был в последние дни сух со мною... *(Оправляет мундир)*.

ШУРОЧКА окликает его.

ШУРОЧКА. Ромочка, куда же вы? Идите же сюда. Ах, я так боялась, что вы откажетесь, не придете... Слушайте, будьте сегодня милы и веселы. Не обращайтесь ни на что внимания. Вы смешной: вас чуть тронешь, вы и завяли. Такая вы — стыдливая мимоза.

РОМАШОВ. Шурочка, вот вы сказали одну фразу... она так смутила меня. Вы сказали давеча...

ШУРОЧКА. Милый, милый, не надо. Пожалуйста, не думайте сегодня об этом. Неужели вам не довольно того, что я вас все время стерегла. Я ведь знаю, какой вы трусишка. И не смейте вы так на меня глядеть!

РОМАШОВ *(бормочет)*. Нет-нет... простите... я...

ШУРОЧКА. Ну, довольно... Ромочка, неловкий, опять вы не целуете рук!

РОМАШОВ страстно припадает к ее рукам.

Вот так. Теперь другую. А теперь опять первую. А ладошку, ладошку зачем... Умница. Идемте. Не забудьте же — сегодня наш день. Царицы Александры именины. А вы будете ее рыцарем... Или пажом... а, Ромочка?

РОМАШОВ. Я там... у себя ... приготовил вам подарок... так, скромный дар...

ШУРОЧКА. Какие глупости. Должно быть, потратились на духи? Я что — для вас и без того не достаточно хорошо пахну? *(Дает себя обнюхать.)* Довольно, довольно... А где ж мой муж?

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Очень рад, очень рад, тем лучше. Но отчего, Ромашов, вы утром не приехали к пирогу?

РОМАШОВ *(вздрагивает, озирается, про себя)*. Он меня не любит. Что он? Сердится, ревнует? Надоел я ему? *(Громко.)* Знаете, у нас в роте идет осмотр оружия... Готовимся к смотру, нет отдыха даже в праздники... однако я положительно сконфужен... Я никак не предполагал, что у вас... пироги. И вышло так, что я точно напросился... право мне совестно...

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. О нет, что вы, мой любезный... Что за китайские церемонии. Больше народу — так даже веселее.

ШУРОЧКА. Ах, не люблю этих провинциальных посиделок, в них есть что-то мелочное и пошное. Но пирогов нужно было напечь — для мужа. *(Показывает вверх.)* Но, боже, как все это глупо, глупо! И все-таки, не знаю почему, я сегодня безумно счастлива. Все можно устроить в саду! Вы знаете, какой у нас с Николаевым прекрасный сад? Еще не старый, но тенистый. И все-таки, не знаю почему, но я сегодня безумно счастлива.

Нет, Ромочка, милый, я знаю почему. И вам это потом скажу, потом скажу... Я скажу... Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего, ничего не знаю наверное...

РОМАШОВ. Вы сегодня необыкновенная. Что с вами?

ШУРОЧКА. Но я же вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите: небо голубое, свет голубой... И у меня самой какое-то чудесное голубое настроение, какая-то голубая радость!

ГОЛОС ВЕТКИНА. В тиши жила
В лесу жила,
Веретено крутила,
И ото всей своей души
Прялочку любила...

ШУРОЧКА. Налейте мне еще вина, Ромашов! Милый мальчик... Сядем?.. Ромочка, хорошо вам?

РОМАШОВ. Хорошо. О да, мне сегодня так хорошо, так хорошо! Скажите, отчего вы сегодня такая?

ШУРОЧКА. Какая?

Появляется БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ; он играет на шарманке.

РОМАШОВ. Вы чудная, необыкновенная. Такой прекрасной вы никогда еще не были. Что-то в вас поет и сияет. В вас что-то новое, загадочное, я не понимаю что... Но... вы не сердитесь на меня? Вы не боитесь, что он вас хватится?

ШУРОЧКА. Милый Ромочка! Милый, добрый, трусливый, милый Ромочка! Я ведь вам сказала, что этот день — наш. Не думайте ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая? Нет? Не знаете? Я в вас влюблена сегодня. Нет-нет, вы не воображайте, это зав-

тра же пройдет...

РОМАШОВ (*протягивая к ней руки, умоляюще*).
Шурочка... Саша... Сашенька...

ШУРОЧКА. Не называйте меня Шурочкой, я не хочу этого... Все другое, только не это.

РОМАШОВ. О, милая!

ШУРОЧКА. Подождите... Ну, слушайте же. Это самое важное. Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. О, я бы сейчас же узнала эту комнату до самых мелочей. Много было ковров, новое пианино блестело, но горел один только красный фонарь. Где-то играла музыка, ее не было видно... А мы — танцевали. Только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались ногами пола. Мы точно плавали в воздухе и — кружились, кружились, кружились... Ах, это продолжалось так долго и так невыразимо чудно-приятно... Слушайте, Ромочка, вы летаете во сне?

РОМАШОВ (*сомнамбулически*). Конечно, летаю. Но только с каждым годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под потолком. Ужасно смешно было глядеть на вещи сверху: как будто всё ходит вверх ногами. А люди пытаются достать меня половой щеткой, ан — не могут... Теперь уже этого нет. Теперь я только прыгаю. Оттолкнусь ногами, пролечу немного — и на землю. Шагов двадцать...

ШУРОЧКА (*в унисон с ним*). И вот, после этого сна. Утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли нынче, я не знаю, что бы

я сделала. Я бы кажется сама к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не рано. Я боялась за саму себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня?

РОМАШОВ целует ее ноги.

Ромочка... ах... не надо...

РОМАШОВ. Это сказка.

ШУРОЧКА. Да, милый... сказка.

РОМАШОВ. Шурочка, я люблю вас...

ШУРОЧКА. Нет, нет... мой милый... нет...

РОМАШОВ. Дорогая... какое счастье... Я люблю тебя. Посмотри: эта ночь, и тишина, и никого кроме нас. О, счастье мое, как я тебя люблю!

ШУРОЧКА (*дыша*). Нет... нет... Ромочка, зачем вы такой... такой... слабый. Я не хочу скрывать, меня влечет к вам, вы мне милы всем: своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что люблю вас, но я о вас всегда думаю, я вижу вас во сне, я... чувствую вас... Меня волнует ваша близость и ваши прикосновения. Но — зачем вы такой жалкий! Ведь жалость — сестра презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были стильный! Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!..

РОМАШОВ. Я сделаю, я сделаю это! Будьте только моей. Идите ко мне! Я всю жизнь...

ШУРОЧКА. Верю, что вы хотите, голубчик, верю, но вы — ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О. Если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла бы за вами. Ах, Ромочка, славный мой... У нас все общее: и любимое, и нелюбимое, и мысли, и сны, и же-

лания. Мы понимаем друг друга с полупамятка, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот — я должна отказаться от тебя... Я своего мужа не люблю. Он груб, он нечуток, неделикатен. И потом — он дико ревнив. Он мучит меня моим прошлым, выпытывает каждую мелочь... задает мерзкие вопросы... делает такие чудовищные предположения... фу... Господи! У меня и романов-то не было... так, детские.

РОМАШОВ. Тебе холодно?

ШУРОЧКА. Нет, милый, мне хорошо. Ах, мне так хорошо, любовь моя!

РОМАШОВ. Скажи мне... прошу тебя... ты ведь сама говоришь, что не любишь — его... Зачем же вы вместе?

ШУРОЧКА. Однако поздно. Еще начнет разыскивать, пожалуй... Прощай! Прощай, моё счастье. Моё недолгое счастье!

РОМАШОВ. Саша, Сашенька! Отчего ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся!..

ШУРОЧКА. Я не хочу обмана. Впрочем, я выше обмана — я не хочу трусости. В обмане же — всегда трусость. Я тебе скажу правду: я мужу никогда не изменяла и не изменю ему до тех пор, пока не брошу... Но его ласки, его поцелуи вселяют в меня омерзение... Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства... И потом, я не хотела этого говорить... не хотела портить нашу встречу... но мужа осаждают анонимными письмами. Я не знаю, кто это делает, но пишут и пишут. Он мне не показывал, но вскользь говорил об этом. Пишут какую-то площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу, не ходите к нам.

РОМАШОВ (*в отчаянии*). Саша... Сашенька!..

ШУРОЧКА. Ах, мне это самой больно, мой милый, мой дорогой, мой нежный. Но это необходимо. И так, слушайте» я боюсь, что он сам будет говорить с вами об этом... Умоляю вас, ради бога, будьте сдержанны. Обещайте мне это.

РОМАШОВ *(печально)*. Хорошо.

ШУРОЧКА. Прощайте, мой бедный. Бедняжка, дайте мне руку. Сожмите крепко-крепко, так, что мне стало больно. Вот так... Ой!.. Теперь прощайте. Прощай, радость моя! *(Исчезает, как появилась.)*

РОМАШОВ *(сам себе)*. Его красивое лицо было подернуто облаком скорби.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Я нарочно вас ждал.

РОМАШОВ *(озираясь)*. Где вы?

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Я здесь.

РОМАШОВ. К вашим услугам.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Я вас не задержу, мне только два слова... Я прежде другого должен поставить вопрос? Относитесь ли с должным уважением к жене моей?

РОМАШОВ. Я не понимаю.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Будем спрашивать поочередно. Иначе не столкнемся. Будем говорить прямо и откровенно. Ответьте прежде всего: вас хоть сколько-нибудь ее репутация. Что о ней думают и что говорят.

РОМАШОВ. Это разумеется.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Не перебивайте. О ней говорят и сплетничают. Вы, я надеюсь, не будете отрицать, что ничего, кроме хорошего, вы в нашем доме не видели?

РОМАШЕВ. Да-да... пироги... Поверьте, я всегда буду благодарен и вам... и Шуро... и Александре Петров-

не...

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Я не ищу вашей благодарности. Я хочу сказать, что моей жены коснулась грязная лживая сплетня... Здесь замешаны и вы. Мы получаем что ни день подлые анонимные письма.

РОМАШОВ. Это подло, наконец... письма.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. В них говорится, что вы — любовник Александры Петровны.

РОМАШОВ. Я?

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Что у вас ежедневно происходят тайные свидания. И весь полк об этом знает.

Раздаются звуки марша.

Мерзость!

РОМАШОВ (*тихо*). Я знаю, кто писал.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. И вы смеее молчать! Вы должны заткнуть рот сволочи. Если вы честный человек! А не какая-нибудь...

РОМАШОВ. Я... я честный... че... че...

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Помните — это ваш долг!..

РОМАШОВ (*шепотом*). Да.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Так-то, ротный донжуан.

РОМАШОВ (*встряхиваясь*). Я попрошу не кричать на меня. Говорите приличнее, я не позволю вам кричать.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Я вовсе на вас не кричу. Я вас только убеждаю. Хотя имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне такое право. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, вы должны прекратить эту травлю.

РОМАШОВ. Хорошо, я сделаю, что могу.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. И потом, вот еще что... Только вы не сердитесь, пожалуйста... Уж раз мы начали говорить, то лучше говорить до конца. Не правда ли?

РОМАШОВ. Я слушаю.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам относились, и я, и Александра Петровна. И если я теперь вынужден... Ах, да вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни.

РОМАШОВ. Хорошо. Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели меня просить. Впрочем, я и сам решил прекратить мои посещения. Не так давно я зашел на пять минут — возвратить Александре Петровне книги, и смею уверить. Это в последний раз.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Да... так вот... книги... Итак, до свидания!

РОМАШОВ. Честь имею...

ГОЛОС ГАЙНАНА. Твоя не обедал. Небось голодный? Сейчас побегу в собранию, принесу тебе обед

РОМАШОВ (*орет с визгом*). Убирайся к черту! Убирайся, убирайся, и не смей заходить ко мне в комнату. И кто бы меня ни спрашивал — меня нет дома! Хоть бы сам государь император пришел!

РОМАШОВ прицепляет шашку; прислушивается. Как в некоторых других сценах многих сценах, сбоку офицеры сидят за столом.

СЛИВА. Вся рота идет, как один человек! А оно одно — ваш Ромашов — оно точно на смех — як твой козел. Я ему прямо сказал: уходите-ка, почтеннейший, в

другую роту. А лучше бы вам и вовсе из полка уйти. Какой из вас к черту офицер, одно междометие.

РОМАШОВ зажмуривается, мотает головой.

РОМАШОВ. Это — про меня? Нет, это точно про меня... Какой позор. И перед всем собранием... Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно, как я страдаю, как я одинок, как люблю тебя... Посмотри в окно. Подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни... Слышишь, я приказываю, сейчас же подойди к окну... Ты не слышишь меня! Ты сидишь теперь с НИМ рядом. Около лампы, спокойная, равнодушная. Красивая. Ах, боже мой, как я одинок, как я несчастлив!.. А что, если застрелиться? Каково будет? *(Стреляется.)* Вот Гайнан выскакивает из моей комнаты. Бледный, трясущийся вбегает он в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно поднимаются с мест. Тогда он с трудом произносит: ваше высокоблагородие.... подпоручик — застрелился! Общее смятение. Лица бледнеют. В глазах отражается ужас. Кто застрелился, слышатся голоса? Где? Какой подпоручик? И тут Веткин, да, он, конечно, восклицает: господа, да это же денщик Ромашова! Это его черемис! Тут все бегут на квартиру, некоторые без шапок. Ромашов лежит на кровати. Лужа крови на полу, и в ней валяется револьвер Смита и Вессона, казенного образца... Сквозь толпу офицеров, наполняющих маленькую комнату, с трудом пробивается полковой доктор. В висок! Произносит он тихо среди всеобщего молчания,— все кончено. Тогда кто-то замечает вполголоса, Веткин, должно быть: господа, снимем же шапки. Все, кто был в шапках, обнажают головы.

Веткин находит на столе записку, твердо написанную карандашом, и читает вслух. Прощаю всех, читает Веткин, едва сдерживая слезы, умираю по доброй воле, жизнь так тяжела и печальна! Ромашов... Все переглядываются. Все читают в глазах друг друга одну и ту же беспокойную мысль: это МЫ его убийцы...

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ играет на шарманке что-то донельзя заунывное. РОМАШОВ ползает в гроб.

Мерно покачивается гроб под золотым парчовым покровом на руках товарищей.

Все офицеры выступают из темноты.

Позади их — шестая рота. Капитан Слива сурово хмурится.

СЛИВА сурово хмурится.

Доброе лицо Веткина распухло от слез. Он и не пытается сдерживать себя...

ВЕТКИН громко всхлипывает.

Глубокими скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша. Тут же и все полковые дамы. И Шурочка, Шурочка. Я его целовала — думает она с отчаянием — я его любила! Я могла бы его удержать, спасти. Слишком поздно, говорю ей я с горькой улыбкой, приподнимаясь из гроба. (*Садится в гробу, разводит руками.*) Слишком поздно, Александра Петровна...

Офицеры тихо переговариваются.

Тихо переговариваются господа офицеры. Эх, как жаль беднягу. Ведь какой славный был товарищ, какой прекрасный способный офицер. Это пусть Слива скажет...

СЛИВА. Нет, был он не междометие, был он храбрый офицер. Мог бы стать герой.

РОМАШОВ. Да, не понимали мы его, недооценили... И — все сильнее рыдает похоронный марш. Это — музыка Бетховена «На смерть героя». А Ромашов — то есть, я — лежит в гробу, неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На груди у него скромный букетик фиалок. И никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он всех простил: и Шурочку, и Сливу. И даже командира корпуса. Пусть же не плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни. Ему будет лучше — ТАМ!

Фигура Шурочки.

ШУРОЧКА. Вы бросили ночью цветы в открытой окно моей комнаты. Не смейте никогда этого делать. Нежности во вкусе Ромео и Джульетты смешны, если они происходят в пехотном армейском полку!

ВЕТКИН (*пьяно поет*).

Бесятся кони, бренчат мундштуками,

Пенятся, рвутся, хрипя-ят.

Барыни, барыни взором отчаянным

Вслед уходящим глядят...

Ромуальд, анахорет сирийский, дай я тебя лобзну.

В самые губы, пожалуйста, душа моя.

РОМАШОВ. Веткин! Как ты вовремя! Я ждал тебя!

ВЕТКИН (*удовлетворенно*). Он меня ждал.

ВЕТКИН крепко и продолжительно целует РОМАШОВА в губы.

РОМАШОВ (*смущенно утираясь*). Ты намочил меня своими усами... И к чему такие восторги

ВЕТКИН. Друг, руку твою! Институтка ты моя, институточка. Люблю в тебе я прошлое страданье и юность улетевшую мою. Ромашевич, люблю я, братец, тебя. У-у-у! (*Передергивается словно в предвкушении.*) Дай я тебя еще раз поцелую

РОМАШОВ отбивается.

Постой, зачем я к тебе пришел?.. Что-то важное... А, вот зачем. Ну, брат, и выставил же я Бобетинского. Понимаешь, все дотла, до копейки. Дошло до того, что он просит играть на запись! Ну, уж, я тут ему говорю: нет уж, батенька, это атанде-с, не хотите ли чего-нибудь помягче-с? Тут он ставит револьвер. На-ка вот, Ромашенко, погляди. (*Достает маленький револьвер в замшевом чехле.*) Это, брат, системы Мервина... Дай я тебя поцелую... Не хочешь, хорошо... Так вот, я спрашиваю: на сколько ставишь? Он говорит: двадцать пять. Нет, говорю, десять. Он: пятнадцать. Ну, говорю, черт с тобой. Поставил он рубль и в масть и в круглую. Бац, бац, бац, бац! На пятом абцуге я ему даму — чик! Здравствуйте, сто гусей. За ним еще кое-что осталось. Великолепный револьвер и патроны к нему. На тебе, Рома-

шевич. В знак памяти и дружбы нежной дарю тебе сей револьвер, и помни всегда прилежно, какой Веткин — храбрый офицер. Стихи!

РОМАШОВ. Ну, зачем, спрячьте.

ВЕТКИН. Что, думаешь, плохой револьвер? Слона можно убить. Постой, мы сейчас попробуем. Где у тебя помещается твой раб? Я пойду спрошу у него какую-нибудь доску. Эй. Раб. Оруженосец! (*Видит бюст Пушкина.*) О, ничего больше и не найти лучше. (*Хватает бюст за голову.*)

РОМАШОВ. Будет... не стоит...

ВЕТКИН. Э, чепуха. Какой-то шпак. Вот мы его сейчас поставим на табуретку. Стой смирно, каналья! Смирно, кому говорю! Не то я тебе задам, слышишь?

ВЕТКИН меряет шагами расстояние, как при поединке. Отходит от Пушкина шагов на восемь.

(*Кричит.*) Видал, миндал?

ВЕТКИН стреляет. Бюст валится на пол.

(*Ромашову*) Ну, так вот тебе — на! Береги на память о Веткине и помни мою любовь! А теперь надевай китель и айда в собрание. Дернем — во славу русского оружия! (*Целует Ромашова.*)

РОМАШОВ. Право же... не нужно... не стоит... лучше не нужно... право же...

Затемнение

АКТ 2

Буфет в офицерском клубе. За тем же столом те же лица, что и в начале спектакля. В разгаре офицерская пирушка, все сильно пьяны

ВЕТКИН. Говорят, в соседней роте опять солдат повесился.

СЛИВА. Это все от либерализма нашего. Их драть надо, и гонять на плацу, чтоб падали в казарме замертво. Тогда и времени у них не будет на глупости. Тоже мне — гёты.

БОБЕТИНСКИЙ. Вертеры, если позволите, господин капитан.

НАЗАНСКИЙ (*Сливе*). Это несправедливые слова. У солдата служба куда как тяжела. И беспросветна — когда еще он до дому дослужится. Да и дома-то поди уже нет...

ЛЕХ. Да что ж мы не пьем в самом деле, господа. Налейте нашему Ромашову. А то он в задумчивости.

ВЕТКИН. Душа моя, я даже знаю причины... Да что ж ты, в самом деле. Стоит ли того такая безделица, как ветренная бабенка... Пей.

РОМАШОВ (*икая*). Не смей так говорить о моих знакомых! (*Пьет одним махом целый бокал.*) И потом — не вижу я повода пить.

ВЕТКИН. Да что ж такое — повода нет, душа моя. Вон, проехал за окном жид на телеге, — надо выпить. Или собака где-то завывала — наливай! Или там гром грянет...

АГАМАЛОВ (*поигрывая ножнами*). Ох, и скучно с вами. То вы про службу, то про войну. Теперь за собак

пить будете... Нет, поедем куда-нибудь. Хоть к Шлейферше.

ЛЕХ. А что, верно. Едемте господа. Кто-то мне сказал в штабе, что у нее появилось несколько новых девочек.

ВСЕ ХОРОМ. К Шлейферше, к Шлейферше. Ура!

АГАМАЛОВ. Едем же!

Общая суета и неразбериха, опрокидываются стулья, надеваются фуражки набекрень. С улицы несетя ржанье лошадей. ВЕТКИН тащит пьяного РОМАШОВА.

РОМАШОВ (с пьяным лукавством). Врешь, Веткин. Я знаю, брат, куда ты меня ведешь. Ты, брат, меня хочешь отвезти к женщинам. Я, брат, знаю. О, там женщины отдают кому угодно свое тело, свои ласки и великую тайну любви! За деньги. На минуту. Ах, не все ли равно. Женщины! Женщины! Ау!.. Но куда ж мы едем?

АГАМАЛОВ. Как куда? В Завалье!

РОМАШОВ. Отчего же в Завалье? Ах да, ведь едем к Шлейферше. А она и верно — в Завалье...

ВЕТКИН. Неужели ты там ни разу не был, душа мой?

РОМАШОВ. Убирайтесь вы к черту!

АГАМОЛОВ. Мы уж замолвим словечко.

ВЕТКИН. Шепнем, что ты в первый раз. В первый раз в жизни в борделе. А? Ну, миленький, ну, душечка. Девки таких любят. Любят растлевать. Шепнем им, ладно, что тебе стоит? Я только одной шепну, какая тебе приглянется.

НАЗАНСКИЙ (в зал). Я спрашиваю себя — что же такое, наконец. Проституция? Блажный бред больших го-

родов? Или это вековечное историческое явление? Прекратится ли она когда-нибудь? Или умрет только со смертью всего человечества? Кто мне ответит на это? (Уходит вслед за остальными.)

Офицеры в публичном доме: венские стулья вдоль стен, выгородки из ситцевых занавесок, зеркала. Пьяная компания поет, ругается, кричит, смеется. Девиц полдюжины. Одна из них, самая маленькая, одета пажом, в розовом трико, сразу же льнет к АГАМАЛОВУ, играет шнурами его аксельбантов. ЛЮБОЧКА, разносит шампанское. Ей ВЕТКИН что-то шепчет на ухо, тайком тыча в РОМАШОВА.

ЛЮБОЧКА (Ромашову). Мужчина, что вы такой скучный. Пойдем в номер за занавеску.

РОМАШОВ (облокачиваясь на нее, чтоб не упасть). Как вас зовут?

ЛЮБОЧКА. Меня? Мальвиной. Угостите папиросочкой.

Проявляются два еврея-музыканта с пейсами. Один — со скрипкой, другой с бубном. На одном ермолка и лапсердак, другой в вязаном жилете болотного цвета и котелке. Играют польку. Один за другим офицеры, выходя со своими девицами из-за занавесок, где скрывались по очереди, начинают танцевать канкан. Девицы присоединяются. На пороге возникают две штатские фигуры обывательского вида (это могут быть рабочие сцены).

АГАМАЛОВ (неожиданно, отталкивая пажу, со звериным рыком). К черту шпаков! Я — офицер! Сейчас же вон. Фить! Они хотят разделить компанию? Еще чего. С того, что давеча я их здесь терпел. Вон! Марш!

НАЗАНСКИЙ. А ведь они в полк жаловаться будут.

АГАМАЛОВ. К черту!

ВЕТКИН. Славно Бек выставляет шпаков. У-лю-лю-лю! Ату их, Бек!

ЛЮБОЧКА (*поет, садясь на колени к Назанскому*).

Когда заболеешь чахоткой навсегда

Станешь бледный, как эта стена —

Кругом тебя доктора.

РОМАШОВ (*в пространство*). И давно вы все здесь, бедные девушки? Продаете себя задаром, а ваши матери, ваши отцы, ваши сестры и братья — плачут. Им жалко вас... (*Всхлипывает.*)

ВЕТКИН. Нет, совсем тебе пить не стоит, Ромашевич.

ДЕВИЦЫ хохочут, начинают щипать и щекотать РОМАШОВА. Вовлекают его в танец. Тот пытается изобразить канкан, падает то на одну, то на другую. БОБЕТИНСКИЙ тем временем плещет пивом из стакана за одну из занавесок.

ГОЛОС ЛЕХА. Да, господа... да будет же. Кто это там? Что за свинство — плескаться. Тем более пивом!

НАЗАНСКИЙ (*Любочке*). Ты давеча Мальвиной назвалась. Глупо. Как тебя на самом деле зовут?

ЛЮБОЧКА. Зачем тебе, господин хороший?

НАЗАНСКИЙ. Нравишься ты мне.

ЛЮБОЧКА. Ну, зови Любкой. А что ж ты меня в номер-то не приглашаешь, коли я тебе приглянулась?

НАЗАНСКИЙ. Да ведь я за любовь не плачу. Грешно это — за любовь платить. Ею нас сам Господь одарил, как даром высшим.

ЛЮБОЧКА (*вглядываясь в него, серьезно*). Станный вы господин. Впервые такого встречаю. А ведь моло-

денький...

АГАМАЛОВ. Все вон отсюда! Никого не хочу! Все — шпаки! Вон, вон! Чтоб духу вашего не было! А-а-а! (*С рыком вдруг выхватывает шашку из ножен*). Всех зарублю-у-у-у! (*Ударяет шашкой по зеркалу, — то мелко рассыпается, — потом сбивает одним ударом бутылки и стаканы со стола.*)

ЛЮБОЧКА (*вскакивая*). Дурак. Хам. Никто тебя не боится. Дурак, дурак...

АГАМАЛОВ. Молчи, сука!

ЛЮБОЧКА. Дурак. Армяшка. Сам молчи. Дурак. Хам...

АГАМАЛОВ. Ты замолчишь? В последний раз...

РОМАШОВ (*неожиданно протрезвев, крепко обнимая Агамалова*). Нет, Бек, ты не ударишь женщину. Бек, тебе во всю жизнь стыдно будет. Ты не ударишь!

АГАМАЛОВ. Пусти!

РОМАШОВ. Ты сам, Бек, скажешь потом мне спасибо.

Неожиданно СЛИВА стал гоняться за одним из жидов. Он вырвал у него бубен и принялся колотить жида по голове. Еврей орет.

СЛИВА (*в трансе*). Жиды... студенты... поляки... конокрады...

НАЗАНСКИЙ (*хватает его за руки, вырывает бубен*). Хватит.

СЛИВА. И ты жид.

НАЗАНСКИЙ. Позвольте доложить, вы идиот, ваше благородие. Евреи — это непостижимый удивительный народ. Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не

смешиваясь, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Сохранил этот горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих упований, священный язык своих божественных книг, свою мистическую азбуку, от самого начертания которой веет тысячелетней древностью...

ВЕТКИН. Брось, Назанский, кому ты это говоришь. Он же, эфиоп, ни аза, ни буки...

ЛЮБОЧКА. Нет-нет, пусть говорит!

НАЗАНСКИЙ. А ты поняла? Поняла, о чем я говорил?

ЛЮБОЧКА (*робко*). Кажется. Вы, господин хороший, благородно говорили.

НАЗАНСКИЙ (*восторженно*). Она поняла!.. (*Берет ее за руку.*) Пойдем со мной. Я заплачу за тебя твоей Шлейферше.

ВЕТКИН. Да у тебя и денег нет.

НАЗАНСКИЙ. Займу. Шашку продам.

ВЕТКИН. Как же будешь без шашки-то, братец?..

НАЗАНСКИЙ (*как в жару, Любочке*). Ну, решайся же!

ЛЮБОЧКА (*испуганно озираясь*). Да ты шутишь, барин. Смеешься надо мной.

НАЗАНСКИЙ. Я не шучу.

ЛЮБОЧКА. На содержание, что ли, зовешь?

НАЗАНСКИЙ. Какая ты глупая. Теперь я друг тебе. Ты работать будешь... Стряпать в клубе. Или шить. Куплю тебе машинку Зингера.

ЛЮБОЧКА. Да я и готовить-то толком не умею. Разве кашу в деревне... в печке томила... А Зингера — хорошо. К нам одно время ходил такой, Зингер его и зва-

ли. Немец, что ли, уж и не знаю. Да видно другой, не тот, что с машинкой. Так этот Зангер, пока в номер не подымет, всем девушкам, какие свободные, по бокальчику вина заказывали. Обходительный, только лысый очень...

НАЗАНСКИЙ. Ты смешная. Как можно быть очень лысым. Человек или лысый, или нет.

ЛЮБОЧКА. Неправда, к нам разные ходят. Одни, может, лысые наполовину. А этот совсем был лысый. Только над ушами сединка пробивалась. Кудрями. Да мне что, я лысых уважаю. Они важные и не жадные. А то придет какой молодой, весь в кудрях, так норовит убежать, не заплатив. И на штанах заплаты. А что б шампанское — не дождешься...

НАЗАНСКИЙ. Ты про все это забудешь. Забудешь, как дурной сон. Как будто не было.

ЛЮБОЧКА. Я-то и не помню ничего толком, все слилось. Память девичья: что тот, что этот. А вот ты, барин, помнись будешь. И попрекать.

НАЗАНСКИЙ. Нет-нет, поверь мне...

ЛЮБОЧКА. Я уж мужчин знаю...

НАЗАНСКИЙ. Да никогда, ни словом, ни полсловом. Клянусь.

ЛЮБОЧКА. Это вы сейчас так говорите... А что на содержание зовете — так это каждая девушка мечтает...

НАЗАНСКИЙ. Ладно, я потом тебе все объясню. Идем же!

ЛЮБОЧКА (*подхватывая узелок*). Да только, господин хороший, я ведь верная. Мне изменять ни к чему, если у меня свой. И не обижает...

Уходят.

БОБЕТИНСКИЙ (*из глубины сцены*). Веткин, идите петь!

ВЕТКИН (*поет как пономарь*). Спо-о-ем-те что ни-и-будь!

ВСЕ ХОРОМ. Спо-ем-те что-ни-и-бу-удь.

ВЕТКИН (*церковной скороговоркой*). За поповым перелазом подрались трое разом, поп, дьяк, пономарь та еще губернский секретарь. Совайся, Ничепоре, совайся...

ВСЕ. Совайся, Ничепоре, совайся... Бобетинский, не фальшивьте... Как бога-атый мужик ест пунш глянсе...

ВЕТКИН. Бы-ыстры как волны

Дни-и нашей жиз-ни.

Умрешь, похоронят,

Как не жил на свете...

(*далее из молитвы на отпевание, по-дьяконски*) В путь узкий ходшие прискорбный веи — житие, яко ярем, взявшие. И мне последовавшие верой приидите, насладитесь, яже уготовах вам почестей и венцов небесных. Рцем вси от всея души. Во блаженном успении живот и вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему, и сотвори ему вечную...

БОБЕТИНСКИЙ. Да ты, Веткин, не из духовных ли?

РОМАШОВ (*криком*). Не позволю! Молчите! Зачем смеяться? (*В зал, выходя на авансцену.*) Вам же всем не смешно, а страшно! Я знаю, что вы чувствуете в душе...

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. А сами позорите полк! Не смейте ничего говорить! Без году неделя!

РОМАШОВ. Но какие особенные, таинственные причины у вас есть такое говорить?

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Молчи, щенок! Я тебе в морду дам! Подлец! Сволочь! Хам!

РОМАШОВ (с дрожью). Я... я вам еще покажу... Я вас вызываю!

ГОЛОС ПОЛКОВНИКА ШУЛЬГОВИЧА. Суд общества офицеров пехотного полка приглашает подпоручика Ромашова в зал офицерского собрания. Форма одежды обыкновенная!

Стол под зеленым сукном составлен из сдвинутых ломберных столиков. За ним все знакомые нам офицеры. Перед ними стоит на вытяжку РОМАШОВ.

ГОЛОС НИКОЛАЕВА. Не оглядывайтесь. Стойте спокойно. И слушайте. Я, собственно, не имею права разговаривать с вами. Но к черту французские тонкости. Что случилось, того не поправишь. Но я все-таки считаю вас человеком порядочным. Прошу вас, слышите ли, я прошу вас: ни слова ни о жене, ни об анонимных письмах. Вы меня поняли?

РОМАШОВ озирается, но никого у него за спиной нет.

ШУЛЬГОВИЧ. Подпоручик Ромашов, суд общества офицеров, собравшийся по распоряжению командира, должен выяснить обстоятельства недопустимого в офицерском обществе столкновения между вами и поручиком Николаевым. Скажите, подпоручик Ромашов, где вы изволили быть тем вечером, пребывая в таком невозможном виде.

РОМАШОВ. Я был... был... ну, в одном месте... я был — в публичном доме.

ШУЛЬГОВИЧ. Вы вероятно пили в этом заведении?

РОМАШОВ. Да-да, пил.

СЛИВА. А вы, небось, и не вылезали из дома поручика Николаева?

РОМАШОВ. Я там бывал. Но не понимаю, какое это имеет отношение к делу?

БОБЕТИНСКИЙ. А что не было у вас поводов к, так сказать, взаимной вражде ... е сетера...

РОМАШОВ. Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих знакомых.

СЛИВА. Мы уж слышали о вашей нетрезвости. А что, не было ли у вас прежде стычки?

РОМАШОВ. Господин полковник. Я могу не отвечать здесь на некоторые вопросы?

ШУЛЬГОВИЧ. Можете, можете...

БОБЕТИНСКИЙ. Ваше право.

РОМАШОВ. В таком случае заявляю, что ни на один вопрос, касающейся моей личной жизни я отвечать не буду...

Суд тихо совещается.

ШУЛЬГОВИЧ. Согласно статье сто сорок девятой дисциплинарного устава суд общества офицеров нашего пехотного полка, рассмотрев дело о столкновении поручика Николаева и подпоручика Ромашова нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений ссора не может быть закончена примирением и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка.

РОМАШОВ (*выходя к рампе*). Все — все живет, хло-

почет, суетится, растет и сияет, а мне уже больше ничто не нужно и не интересно. Я приговорен. Я один.

Комната НАЗАНСКОГО. Она еще более бедна, чем комната РОМАШОВА. Разгорожена надвое той же ситцевой занавеской, что и в публичном доме. За занавеской, по-видимому, спальня. НАЗАНСКИЙ сидит за столом, уронив голову на руки. На столе пустой штоф. По всему видно, что он переживает тяжелое похмелье.

РОМАШОВ (*склоняясь над ним*). Здравствуйте. Я не помешал.

НАЗАНСКИЙ (*с трудом поднимая голову*). А, здравствуйте, Ромашов. Что хорошенького? Садитесь.

РОМАШОВ. Вам нездоровится, так я не буду мешать. Я уйду.

НАЗАНСКИЙ. Нет... подождите. Голова болит. Я не могу собрать мыслей. Но что с вами такое? Случилось что.

РОМАШОВ. Офицерский суд приговорил меня стреляться.

НАЗАНСКИЙ. Помилуйте, с кем?

РОМАШОВ. С поручиком Николаевым.

НАЗАНСКИЙ. А, должно быть из-за этой... из-за его жены. Что ж, она хорошенькая. Кто ж секунданты?

РОМАШОВ. Веткин и Агамалов... Мне просто захотелось повидаться с вами. Мне противно идти домой. Да это, впрочем, все равно. До свидания... Просто поговорить не с кем, тяжело на душе.

НАЗАНСКИЙ. Нет, подождите... мы сделаем вот что... Достаньте там, из шкафчика... вы знаете... Нет, не надо яблока... Там есть мятные лепешки... Спасибо род-

ной. Мы вот что сделаем... *(Наливает, пьет.)* Фу, какая гадость!..

В какой-то момент этого разговора из-за занавески, крадучись, выходит ВЕТКИН. С другой стороны, тоже на цыпочках, заходит за занавеску АГАМАЛОВ.

НАЗАНСКИЙ. Да, я поступил, как человек. Вот и теперь я не раскаиваюсь, в том, что сделал. Хорошо говорить об ужасах проституции, сидя за чаем с булками и колбасой, в присутствии чистых и развитых женщин. А сделал кто-нибудь действительный шаг к освобождению падших от гибели? *(Наливает себе.)*

РОМАШОВ *(отрешенно)*. Налей и мне, пожалуй. Ты очень правильно говоришь.

НАЗАНСКИЙ. А есть еще и такие, что придет к этой самой Сонечке Мармеладовой, наговорит ей турусы на колесах, распишет всякие ужасы, залезет к ней в душу, пока не доведет до слез, и сейчас же сам расплачется и начнет утешать...

РОМАШОВ. Уж не про меня ли ты?

НАЗАНСКИЙ. Да нет, зачем. Я в общем. Так вот, гладит ее по голове, поцелует в щеку, потом в губы. Ну. А там известно что. *(Орет.)* Люба! Дорогая моя! Милая, многострадальная женщина!

ЛЮБОЧКА появляется из-за занавески, поправляя платье и прическу, потягивается как кошка.

ЛЮБОЧКА. Да здесь я.

НАЗАНСКИЙ. Знакомься, мой цветок, мой товарищ, подпоручик Ромашов.

ЛЮБОЧКА (*Ромашову, делая нечто, похожее на книксен*). Здравствуйте вам. (*Садится за стол.*)

НАЗАНСКИЙ. Господи! Вот уже много лет, как не видал я как следует восхода солнца. То карточная игра, то пьянство. Посмотри, душенька, вон там, за окном, заря расцвела. Солнце близко. Это — твоя заря, Любочка! Это начинается твоя новая жизнь. Ты смело обопрешься на мою крепкую руку. (*Чуть не падает со стула.*) Я выведу тебя на дорогу светлого труда. На путь смелой, лицом к лицу, борьбы с жизнью...

ЛЮБОЧКА (*приглядываясь к Ромашову*). Да-а, обманете небось? Все мужчинки такие: вам сперва своего добиться, получить свое удовольствие. А потом нуль внимания.

НАЗАНСКИЙ (*вскакивая, качаясь*). Я?! О! Чтобы я! Плохо ж ты меня знаешь! Я слишком честный человек, чтобы обманывать беззащитную девушку.

ЛЮБОЧКА. Да разве ж я не чувствую, маленький вы мой, что вы хотите меня обеспечить?

ЛЮБОЧКА. Вы думаете разве ж я не понимаю...

НАЗАНСКИЙ. Сестра моя, обопрись на мою руку. (*Падает на стул, бормочет.*) Нет, я положу все свои силы всю свою душу, чтобы образовать твой ум, расширить твой кругозор... заставить твое бедное исстрадавшееся сердце забыть все раны и обиды, которые нанесла ему жизнь... Я буду тебе отцом... и братом... Я оберегу каждый твой шаг... А если ты полюбишь кого-нибудь истинно чистой святой любовью.... (*Иссякает, наливает.*)

Во все время этого разговора ЛЮБОЧКА потихоньку подвигалась к РОМАШОВУ.

ЛЮБОЧКА (*жарко, громким шепотом Ромашову*).
Господин хороший, хочешь, быличку тебе расскажу?

РОМАШОВ (*отрешенно*). Отчего ж... рассказывай...

ЛЮБОЧКА. Я тогда еще в другом заведении служила. Ну, в городе. В большом. Как-то вечером он и пришел — мы как раз с гостями шампанское пили. Приходит, значит, — капитан. И сразу ко мне в комнату. Я спрашиваю: а что вы не раздеваетесь? А он: это, мол, так, глупости. А сам все глазами шарит, а газа желтые, бешеные. Как, говорю, тебя зовут? Меня, говорит, штабс-капитан Рыбников, Василий Александрович, видишь, до сих пор помню...

НАЗАНСКИЙ (*совсем опьянев*). Здравствуйте, Александр Васильевич.

ЛЮБОЧКА. А я и говорю: знаешь, ты похож на япончика. На шкапу у хозяйки портрет есть — вашего императора. А он говорит: очень, говорит, приятно. И тебя, говорит, я люблю. Как так, думаю, странность какая у гостя... И руки холодные. Какой, говорю, вы интересный мужчина, такая цыпочка-цыпуля... Ну, потом он заснул, но во сне все дергался, бормотал, нехорошо ему, думаю. Думаю, воды ему дать. А он вдруг как закричит: банзай! Так и закричал: банзай!

РОМАШОВ (*взволнованно*). А ты?

ЛЮБОЧКА. Японец оказался. Шпион. Я по коридору побежала, к Кольке-дворнику. Опоздали. Японец все понял и из окна выбросился. Ногу сломал, там, внизу его и взяли. Вот!

НАЗАНСКИЙ. Ромашов, ты отчего не пьешь?

РОМАШОВ. Не идет... не могу глотать...не до того мне сейчас. Ну, да ты знаешь — ноет внутри... Нет, не

думаю, я не напугался. Но скверно как-то на душе...

НАЗАНСКИЙ. Ты унываешь, а это — грех. Вот, расскажу тебе историю, что слышал здесь же, в местечке, у корчмаря. Жил, он сказывал, в этом местечке один человек, ну, еврей, конечно. Торговец бродячий. И был он очень набожным... Тебе интересно, Любочка? Не соскучилась?

ЛЮБОЧКА. Вы рассказываете...

НАЗАНСКИЙ. Торговец этот всегда мечтал побывать в Святой земле. И что вы думаете: однажды он вышел из дому закрыть на ночь ставни и увидел луну, бегущую сквозь облака. И он побежал за ней. И через два года пришел в землю Израиль...

РОМАШОВ. Но туда надо плыть по морю.

НАЗАНСКИЙ. Не знаю, не знаю... Он принес с собою мешок земли, которую накопал на Масличной горе.

ЛЮБОЧКА. Красивое название. Ма-асленичная. Так и хочется блинов.

НАЗАНСКИЙ. Земля была белой, как крошенный мел. *(Наливает, опрокидывает.)* Вот так. Все может стать страстью — даже вера в Бога. *(Крестится.)* Когда мы думаем, что будет после нашей смерти, представляем себе холодный, пустой и темный погреб. Нет. голубчик, все это враки: погреб был бы счастливым обманом, радостным утешением. Но представь себе весь ужас мысли, что совсем, совсем ничего не будет...

ЛЮБОЧКА. Что это вы о страстях таких говорите. Вот про мужика с мешком было хорошо.

НАЗАНСКИЙ. Совсем ничего, представь: ни темноты, ни пустоты, ни холоду... Даже мысли об этом не будет, даже страха не останется. Хотя бы страх!

РОМАШОВ. Да, ничего не будет.

НАЗАНСКИЙ. Подумайте! Даже страха... А посмотрите, нет, посмотрите только, как прекрасна, как обольстительна жизнь. *(Хватает ЛЮБОЧКУ, усаживает на колени.)*

ЛЮБОЧКА *(хохочет)*. Так ведь щекотно же!

НАЗАНСКИЙ *(целуя Любочку в шею)*. О, радость, о божественная красота жизни! Ведь дрожишь от восторга! Ах, как все чудесно, как все нежно и счастливо! Нет, если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и внутренности мои смешаются с песком...

ЛЮБОЧКА. Ой, что это вы такое говорите!..

НАЗАНСКИЙ *(с пьяным упорством)*. Пovyлезут все кишки...намотаются на колеса... и если в этот последний мир меня спросят: что, и теперь жизнь прекрасна: — я скажу с благодарным восторгом: ах, как она прекрасна! Сколько радости дарит нам музыка! А есть еще запах цветов. И любовь, женская любовь... Золотое солнце жизни... *(Лезет Любочке под кофту.)*

ЛЮБОЧКА. А я чего говорила.

НАЗАНСКИЙ. Золотое солнце — это... это человеческая мысль! *(Ромашову.)* Родной ты мой! Положим, вас посадили в тюрьму. И всю жизнь вы будете видеть из щелки два изъеденных кирпича.

РОМАШОВ. Да, жизнь прекрасна.

НАЗАНСКИЙ. Именно! И даже если в своей тюрьме нет ни одной искорки света, ни единого звука — останется мысль, воображение, память, творчество... И у вас могут быть минуты восторга!

РОМАШОВ. Да, ты прав.

НАЗАНСКИЙ. Пусть тюрьма! Но разве можно это

сравнить с чудовищным ужасом смерти?!

РОМАШОВ. Ну, прощай...

НАЗАНСКИЙ. Нет, постой, не торопись, погляди-ка на наших офицеров. Подумайте о нет, о несчастных алетухах. Об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска, которое бьют сейчас косоглазые япошки... живут-то на острове с гулькин нос... А потому бьют, что мы — это заваль, рвань, отбросы. В лучшем случае — сыновья покалеченных капитанов. В большинстве же — убоявшиеся премудрости гимназисты, не окончившие семинаристы. Я тебе приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство...

РОМАШОВ. Даже на убийство...

НАЗАНСКИЙ. И все из-за своего горшка щей! Ему приказывают — стреляй! И он стреляет. Ему все равно. Он знает, что дома его ждут замурзанные рахитичные дети и вечно усталая жена-селедка, и он бессмысленно, выпуча глаза, долбит, как дятел, одно слово: присяга!.. (*Вдруг крайне игриво.*) А вот мы с Любкой и без присяги хороши! А, Любовь?

ЛЮБОЧКА. И теперь щиплетесь!

РОМАШОВ. Ну, мне пора...

НАЗАНСКИЙ. Постой же... Ах, как мысли бегают. Как это скверно, когда не ты ведешь мысль, а она тебя... Вот, вспомнил, взгляни же на наших офицеров. Вот капитан Слива. Питается черт знает чем. Сам себе готовит какую-то дрянь на керосинке, носит почти лохмотья, но из своего пятидесяти восьми рублевого жалованья от-

кладывает ежемесячно двадцать пять. У него в банке две тысячи, и он дает товарищам в долг под зверские проценты. Ты не знал?

ЛЮБОЧКА (*болтая ногами*). У нас Шлейферша тоже так делала. Нам денег не отдавала, а сама — в рост, в рост...

РОМАШОВ (*с отвращением*). Ах, боже мой!

НАЗАНСКИЙ. И ведь не из скупости! Нет, это только средство уйти, спрятаться от тяжелой и непонятной бессмыслицы, что называется военной службой... Никто, никто в эту службу не верит. И разумной цели в этой службе не видит. Солдат не идет на военную службу, как на веселое и хищное ремесло, а его влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет...

ЛЮБОЧКА. Бедненький ты мой хрюшкин. (*Гладит Назанского по голове.*)

НАЗАНСКИЙ. Не смей хрюшкина! Не люблю этого! Я друг твой! Брат! Вот как он. Я тебе старший товарищ, спасший тебя из пропасти, забравший из гнезда порока, из блудилища. Чтобы возвратить тебя к чистой жизни! (*Указывает на Ромашова, ищет у Любочки под юбкой, потом Ромашову.*) Так о чем я?

РОМАШОВ (*с тоской*). О службе.

НАЗАНСКИЙ. А начальники — что, они вольные атаманы? Нет, они унылые чиновники, одни трусливо живут на свое нищенское жалованье, другие воруют. Оружием торгуют, вот до чего дошло. Скоро флаг полка на портянки пустят. Да, были фазаны, но облияли. (*Поет.*)

РОМАШОВ. Так я пойду, пожалуй.

НАЗАНСКИЙ. (*Ромашову в спину*). Только один по-

добный пример я знаю в истории — это монашество! (Лезет на ЛЮБОЧКУ, спускает штаны.) И что мы видим? Сотни бездельников, развращенных, здоровенных...

ЛЮБОЧКА. Ой, не туда!

НАЗАНСКИЙ. Здоровенных лоботрясов, ненавидимых даже теми, кто время от времени имеет в них духовную потребность... Нет, я не напрасно заговорил о монахах. Там — ряса и кадило, здесь — мундир и оружие. Но и те и другие живут паразитами.

ЛЮБОЧКА. Ах!

НАЗАНСКИЙ (*трудясь*). Ах, как я не люблю, как я боюсь своей комнаты... Какие сны, какие сны! И пришли мне с денщиком водки. Я без денег... Прощай!

РОМАШОВ. А отчего не до свидания?

НАЗАНСКИЙ (*с хохотом сумасшедшего*). А отчего не до свидания?.. Эй, братец Ромашов, пристрели ты этого Николаева, как собаку. Бах! Бах! (*Опять дико хохочет, поет.*)

До свиданья, бабка,
До свиданья, Любка,
До свиданья, ты моя
Сизая голубка...

РОМАШОВ (*удаляясь в ужасе, с дрожью, в пространство*). А ведь я хотел к матушке съездить, теперь, может, и не увижу её никогда. Прощай и ты, матушка. А ведь как хорошо у нас в Пензенской губернии. Помню, как чудно бывало в именье на Пасху. Какие матушка куличи закатывала... И яйца красили. Святили в нашей церквушке, все вместе — и господа, и крестьяне... И батюшка у нас был прекрасный, отец Амвросий... Что с того, что пил. А если исповедь — ни в одном глазу. Пом-

нится, я мальчиком был и ужа разрезал. На исповеди расплакался, так стыдно стало. И батюшка рассказал мне о грехопадении... *(Плачет.)* А Крещение... Сперва водосвятие в храме, а потом — в прорубь. Все — от ма- ла до велика...

Комната РОМАШОВА, он валится на кровать.

А Масленица. Что за диво! Тройки, девушки деревенские, конфетки-бараночки... *(Напевает, сам обрывает себя.)* Уж ничего этого не будет, подпоручик Ромашов. Смирно! Сколько там осталось до того, как стреляться?..

Стук в дверь.

Вот, пришли мои секунданты с условиями. Эй, Гайнан, открой. Кто там?

ГАЙНАН *(заглядывая в комнату)*. Там тебе барина пришла.

РОМАШОВ. Шурочка? *(Срывается с кровати.)* Шурочка, это вы?

ШУРОЧКА *(шепотом, заговорщицки)*. Тише. Потушите лампу. Садитесь. Кто у вас рядом, за стеной?

РОМАШОВ. Там пустая комната... старая мебель... хозяин столяр... Можно говорить...

ШУРОЧКА. Зачем, зачем вы это сделали? *(Кладет Ромашову руку на колено.)* Помните, я просила вас быть с ним сдержаннее. Нет, нет, я не упрекаю. Вы не нарочно искали ссоры — я знаю это. Но неужели в то время, когда в вас проснулся дикий зверь, вы не могли хотя бы на минуту вспомнить обо мне — и остановиться. Вы никогда не любили меня!

РОМАШОВ *(тихо, кладя свою руку на ее)*. Я люблю

вас.

ШУРОЧКА. Да, я знаю, что ни вы, ни он не назвали моего имени, но ваше рыцарство пропало понапрасну: все равно по городу катится сплетня.

РОМАШОВ. Простите меня. Я не владел собой... Меня ослепила ревность...

ШУРОЧКА (*зло смеясь*). Ревность? Неужели вы думаете, что мой муж Николаев так великодушен, что после ваших оскорблений он удержался и не рассказал мне, откуда вы приехали тогда в собрание?

РОМАШОВ (*переходя на лепет*). Простите. Но я там ничего дурного не сделал. Простите.

ШУРОЧКА. Слушайте, мне дорога каждая секунда. Я ждала вас, пока вы явитесь около часа — у забора. Поэтому будем говорить коротко и только о деле. Вы знаете, что такое для меня муж. Я его не люблю, но я на него убила часть души. У меня больше самолюбия, чем у него. Я тянула мужа изо всех сил, чтобы он поступил в академию. Подхлестывала его, зубрила вместе с ним, взвинчивала его гордость, репетировала, ободряла в минуту уныния. Это — мое собственное большое дело! Я не могу оторвать от этой мысли своего сердца. Что бы там ни было, но он поступит...

РОМАШОВ. Что же я могу сделать?

ШУРОЧКА (*обнимая Ромашова за шею, кладя его голову себе на грудь*). Ты помнишь, тогда ... вечером... на пикнике... Я тебе сказала всю правду. Я не люблю его. Но подумай: три года, целых три года надежд, планов, фантазий и такой упорной противной работы. Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское нищенское офицерское общество. Я хочу быть всегда кра-

сиво одетой, прекрасной, изящной! Я хочу поклонения, я хочу власти! И вдруг — нелепая пьяная ссора. Офицерский скандал,— и все кончено. Все разлетелось в прах! О, как это ужасно! Нелепость, случай — дикий стихийный случай... Милый, ты не можешь оценить моё горе, мое отчаяние, мою злобу, наконец... Но я не виню тебя... Ты слушаешь меня?

РОМАШОВ (*душно*). Да, да... Говори... Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь...

ШУРОЧКА. Нет, нет, выслушай меня до конца. Если ты его убьешь, милый, если его отставят от экзамена — кончено, все разлетелось в прах! Я в тот же день, как узнаю это, бросаю его и еду — все равно куда — в Петербург, в Одессу, в Киев... Не думай, что это — фальшивая фраза. Из газетного романа. Я не хочу пугать тебя дешевыми эффектами. Я знаю — я молода, умна, образованна. Но некрасива...

РОМАШОВ. Ты — Венера!

ШУРОЧКА (*с усмешкой*). Только этого не хватало — венерического... Но я умею быть интереснее многих красавиц, которые на публичном балу получают в виде премии мельхиоровый поднос или будильник с музыкой. Я надругаюсь над собой, но сгорю в один день, в один миг ярко, как фейерверк!

РОМАШОВ. Не говори так... не надо... мне больно... Ну, хочешь, ради тебя я откажусь от поединка, извинюсь перед ним? Сделать это?

ШУРОЧКА. Я так и знала, что ты это предложишь.

РОМАШОВ (*выпрямляясь*). Я не боюсь!

ШУРОЧКА (*страстно*). Нет, нет, нет! Ты меня не понял! Иди ко мне ближе... как раньше... Иди же! Ты

меня не понял. Ты такой чистый, такой добрый, ты — ангел мой, и я стесняюсь говорить тебе об этом... Я расчетливая, я гадкая...

РОМАШОВ. Нет, говори все. Я тебя люблю.

ШУРОЧКА. Послушай. Если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий на тебя... Нет, нет, опять не то... Ах, Боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь давно все взвесила и обдумала. Положим, ты отказался. Честь Николаева реабилитирована. Но, пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то... как бы это сказать... ну, что ли сомнительное, что-то, возбуждающее недоумение и разочарование... Понимаешь ли ты меня?

РОМАШОВ. Да. Так что же?

ШУРОЧКА. То, что в этом случае мужа почти наверняка не допустят к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки. Между тем если бы вы на самом деле стрелялись, то это было бы нечто сильное, героическое. Люди, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, многое, очень многое прощают... Потом... после дуэли... ты мог бы, если хочешь, и извиниться... Ну, это уж твое дело.

РОМАШОВ (*резко от Шурочки отстраняясь*). Ради Бога, объяснитесь прямее... Я все тебе обещаю. Но кого же ты любишь? Кроме себя?

ШУРОЧКА (*повелительно*). Вы непременно должны стреляться. Но ни один из вас не будет ранен. О, пойми же, пойми меня и не осуждай. Я сама презираю трусов. Я женщина. Но ради меня — сделай это! Нет, не спрашивай о муже, он знает! Я все, все, все сделала...

РОМАШОВ (*резко освобождаясь от ее рук*). Хоро-

шо, пусть будет так. Я согласен.

ШУРОЧКА (*поправляя волосы*). Я знала... ты — честный...

РОМАШОВ. Ты уходишь?

ШУРОЧКА. Прощай... Поцелуй меня. В последний раз.

РОМАШОВ целует ее щеки, глаза.

РОМАШОВ. Милая, не плачь. Саша... милая... милая... милая... (*Постепенно раздевает ее.*)

ШУРОЧКА. Не сегодня любимый... Но я твоя, твоя... Но не сейчас...

РОМАШОВ стягивает с нее рубашку, ШУРОЧКА прикрывает грудь руками.

РОМАШОВ. Как я ждал этого часа. Как мечтал о тебе...

ШУРОЧКА. Не смотри.

РОМАШОВ. Ты и с ним не раздеваешься.

ШУРОЧКА. Он — стыдливый. Я его никогда голым не видела.

РОМАШОВ (*ревниво*). В он тебя?

ШУРОЧКА. И он меня — нет.

РОМАШОВ (*разглядывая нагую Шурочку*). Ты божественно красива...

Сцену пересекает Белый пудель, он играет свадебный марш Мендельсона.

ШУРОЧКА. Я не могу с тобой так проститься... Мы

не увидимся больше... Так не будем же ничего бояться... Я хочу, хочу, хочу... этого! Один раз... возьмем наше счастье... Милый, иди же ко мне, иди, иди, иди... (*Кончается.*)

Соединяются. В течение этого эпизода к ним поочередно заглядывают все действовавшие лица. Наконец, кончает и он. ШУРОЧКА и РОМАШОВ одеваются.

РОМАШОВ. Можно мне проводить тебя?

ШУРОЧКА. Нет, ради Бога, не нужно, милый... Не делай этого. Я и так не знаю, сколько времени провела у тебя. Который час?

Обнимаются.

Ну, прощай же, мой дорогой! Прощай. (*Уходит.*)

РОМАШОВ падает на постель и тут же засыпает. Затемнение. Повторяется сцена, с которой начался спектакль: офицеры шестой роты сидят за столом — кроме Веткина и Агамалова. Идет карточная игра.

СЛИВА. Скажу, пожалуй, маленькие трефы.

ЛЕХ. Подробности — письмом, как говорили в моей юности.

БОБЕТИНСКИЙ. Пять без козырей?

СЛИВА. Подвинчиваете?

НАЗАНСКИЙ. Рискнем... Малютка, шлем нося...

ЛЕХ. Наше дело-с.

СЛИВА. Рискнем. Малютка, шлем нося...

БОБЕТИНСКИЙ. Ваша игра... А мы — в кусты.

НАЗАНСКИЙ. Да-а. Куплено... Ни одного челове-

ского лица. Так и будет, как купили...

ЛЕХ. А нынче ведь Николаев и этот мальчик, Ромашов, стреляются.

БОБЕТИНСКИЙ. Игра высокого давления!

НАЗАНСКИЙ. Пульнут в воздух да разойдутся.

БОБЕТИНСКИЙ. Не скажите... Этот — самый обидчивый. Как все рогоносцы!

НАЗАНСКИЙ. Она женщина порядочная.

БОБЕТИНСКИЙ. Бросьте, поручик, пехотный гарнизон — не Смольный институт. И не место для порядочных дам... Они не по страсти — от скуки...

СЛИВА. Ладно, больше четверти часа думать не полагается. Захаживайте... (*Назанскому*) Я вашего валета бубен вижу.

НАЗАНСКИЙ. А вы не глядите...

СЛИВА. Не могу, с детства такая привычка, если кто веером карты держит.

БОБЕТИНСКИЙ (*делая ход*). Не угодно ли сей финик раскусить?

ЛЕХ. Не ходи одна, ходи с маменькой...

НАЗАНСКИЙ. Какие же вы мне черви показывали? Валет там трефей с фосками...

ЛЕХ. Я думал...

СЛИВА. Думал индейский петух... Да и тот подход от задумчивости ...

БОБЕТИНСКИЙ (*Назанскому*). А вы зачем туза засолили? Мариновать его думаете?

НАЗАНСКИЙ. Не с чего, — так с бубей.

ЛЕХ. А что вы думаете об этой прекрасной даме...

Выстрел.

Ну вот, я предупреждал. Хорошо, если не насмерть. Жалко мальчишку. Да и баба-то — тьфу... (*Назанскому*)
А позвольте, да вы, кажется, давеча, козыря не давали...

ШУЛЬГОВИЧ (*на авансцене, куда-то вверх*). Настоящим имею честь донести вашему высокоблагородию, что сего дня, согласно условиям, доложенным вам, состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашевым. Противники встретились без пяти минут в шесть часов утра в роще. Продолжительность поединка — одна минута десять секунд. Места были установлены жребием. По команде «вперед» оба противника пошли друг другу навстречу, причем выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов был ранен в правую верхнюю часть живота. При перенесении подпоручика Ромашова в коляску, тот впал в тяжелое обморочное состояние. И через семь минут скончался от внутреннего кровоизлияния...

Появляется Пудель с шарманкой. Что-то погребальное СЛИВА рукавом шинели подтирает на столе оставшиеся следы.

ЗЕЛЕНЬЙ ГРАНАТ

**пьеса по А. И. Куприну
в двух актах, девяти сценах,
(сценическая редакция С. Стеблюка)**

ЛИЦА

ТЕЛЕГРАФИСТ, очень худ
Княгиня ВЕРА, холодна
АННА, ее сестра, эротична
КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ, муж Веры
НИКОЛАЙ, товарищ прокурора, брат Веры
ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ, муж Анны
ГЕНЕРАЛ, весь седой
СТУДЕНТ Воскресенский
ЛЮДМИЛА ЛЬВОВНА, сестра князя Василия
СТАРУХА, хозяйка квартиры
Горничная ДАША
Сергей, слуга в доме князей Шеиных

1 действие

Сцена первая

Середина сентября. Дача под Ялтой. Яркое утро. Пустая веранда. ВЕРА устраивает букет роз в вазе. С противоположной стороны появляется СТУДЕНТ. Двери в гостиную распахиваются, появляется АННА и, кружась и легко пританцовывая, проходит к колонне. В дверном проеме слева появляется ДОКТОР. Шум моря, крики чаек. На протяжении следующей сцены пары ВЕРА и АННА, СТУДЕНТ и ДОКТОР существуют параллельно, не пересекаясь, как бы находясь в разных пространствах.

АННА. Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо!

ДОКТОР. Фу! Не могу больше... Хоть снова полезай в воду... Посидим минутку.

СТУДЕНТ резко встает и проходит вглубь сцены. Появляется ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ

ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ (*оглядев всех присутствующих на сцене*). Жарко. Я лучше там побуду. (*Уходит*).

ДОКТОР. А все-таки здорово как! Красота ведь, а?

АННА. Если можно, посидим на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь — и сердце веселится.

СТУДЕНТ. Что?

ДОКТОР. Красота!

СТУДЕНТ. Да... ничего. Только надоедает скоро. Декорация.

АННА. Знаешь, чем пахнет морская вода во время отлива?

ВЕРА. Чем же? Водой и солью.

АННА. Нет, Вера, резедой!

ВЕРА (со смехом). Ты фантазерка.

СТУДЕНТ. Видите ли, доктор... юг... Не люблю юга!..
Здесь все как-то масляно, как-то.. не знаю.. чрезмерно.

ВЕРА. Посмотри в сад. Вот левкой — пахнет капустой. И, знаешь, розы этой осенью третий раз зацвели... А эти какие высокомерные...

АННА. Георгины.

ВЕРА. И пионы, и астры — все гордецы.

АННА. Как кавалеры.

СТУДЕНТ. ...Ну вот, цветет магнолия... позвольте, да разве это — растение? Так и кажется, что ее нарочно сделали из картона, выкрасили зеленой масляной краской, а сверху навели лак. Природа! Не люблю!..

АННА (подходит к краю веранды). У, как высоко! Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет... Ах! (Отшатывается).

ДОКТОР. Чудак человек! Вы лучше соедините ландшафт с приятностью любви. Вы бы Анну Николаевну... А? Или уже?..

ВЕРА. Анна, дорогая моя, ради бога. У меня у самой голова кружится... Прошу тебя.

СТУДЕНТ. Солнце встало из-за моря — и жара. А вечером бултых за горы — и сразу ночь. Нет птиц. Нет наших северных зорь с запахом молодой травки, нет поэзии сумерек, с жуками, с соловьем, со стадом, бредущим в пыли. Какая-то оперная декорация, а не природа...

АННА. Там... Там — человек! Тень человека!

ВЕРА. Что ж ты испугалась. Рыбак, должно быть.

АННА. Нет, не похож. Совсем не похож.

СТУДЕНТ. А эти лунные ночи, черт бы их драл. Одно мученье. Море лоснится, камни лоснятся, деревья лоснятся... Олеография!

ДОКТОР. Известно, Вы — кацап!..

ВЕРА. Или татарин.

АННА. Нет, прилично одет. И будто прячется. Там тень под скалой прячется.

СТУДЕНТ. Цикады дурацкие орут, от луны никуда не спрячешься. Противно, беспокойно как-то, точно тебя щекочат в носу соломинкой.

ВЕРА. Не пугай меня. Я и сама боюсь чужих...

АННА. Прошлым летом мы из Ялты ехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако...

ДОКТОР. Мы их ели. Это, знаете, анекдот есть такой. Пришел солдат с войны к себе в деревню, ну и, понятно, врет, как слон. Публика, конечно, обалдевши от удивления. «Были мы, говорит, на Балканах, в самые, значит. Облака забрались, в самую середку». — «Ах, ба-тюшки, да неужто ж в облака?» А солдат этак, с равнодушием: А что нам облака? Мы их ели. Все одно, как студень.

АННА. Попали сначала в облако...

ДОКТОР. Мы их ели...

АННА. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, ле-

са и сады — как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше — море! Верст на пятьдесят, на сто кругом. Мне казалось, я повисла в воздухе и вот-вот полечу...

ДОКТОР. Вы вкусу не понимаете! Женщине 35 лет, самый расцвет, огонь!.. Да будет Вам жасминничать — она на Вас, как кот на сало, смотрит. Чего там стесняться в родном отечестве? Запомните афоризм: женщина с опытом подобна вишне, наклеванной воробьем, — она всегда слаще... Эх, где мои двадцать лет? Где моя юность? Где моя пышная шевелюра, мои тридцать два зуба во рту, мой...

СТУДЕНТ. Простите, Иван Николаич, а я... не могу таких мерзостей слушать... Это не стыдливость, не целомудрие, а... просто грязно, и... вообще... не люблю я этого... не могу...

ДОКТОР. Очарование мое, значит, вы не понимаете шуток?

СТУДЕНТ. Извините.

ДОКТОР (*запел*).

В вашем до-оме узнал я впервые-ые...

Сладость чистой и я нежн-ай любви.

Садятся.

АННА. О, нет, какая же я глупая! Сегодня же твой День ангела, Верочка, семнадцатое сентября. Вот, посмотри. Я боюсь только, понравится ли тебе? Модная штучка... (*Протягивает Вере книгу.*)

ВЕРА (*рассматривая*). Какая прелесть! «Суламифь»!..

АННА. Нашла у букиниста. Меня привел туда студент Воскресенский.

ВЕРА. Студент Воскресенский — твое новое увлечение?

АННА. Ты всегда придумашь.

ВЕРА. И то правда, о чем это я... Говорят же в свете, что у тебя под соблазнительным декольте надета вла-сяница...

АННА (*меняя тему разговора*). Ты велишь здесь накрывать? Будет кто-нибудь интересный?

Все те же. Звучит музыка, появляются гости: князь Василий, Николай, Дурасова, Павел Аркадьевич. Восклицания, поздравления. Князь Василий дарит Вере футляр с серьгами.

ВЕРА. Разве что наш дедушка.

АННА. Ах, дедушка милый! Какая радость! Я его, кажется, сто лет не видала!

ВЕРА. Ты знаешь, он любит покушать. Но здесь ничего не купить ни за какие деньги. Заказали перепелов знакомому охотнику.

Прислуга — Даша и Сергей — накрывают на стол.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Ростбиф достали — сравнительно недурной.

НИКОЛАЙ. Очень хорошие раки...

АННА (*плотоядно*). И очень даже неплохо.

ВЕРА. Но будет и кое-что редкое. (*Примеряя сережки, выходит на авансцену. Глядя в зал, продолжает говорить.*) Сегодня утром рыбак принес морского петуха...

В глубине сцены проходит ТЕЛЕГРАФИСТ.

ВЕРА (*не без мечтательности*). Прямо-таки чудовище. Даже страшно. Одни красные жабры раздутые чего стоят... (*Меняя тон*). Слышишь, коляска подъехала. Это дедушка. Я его коляску по звуку узнаю.

Входит ГЕНЕРАЛ в сопровождении ДОКТОРА и СТУДЕНТА. Сестры бросаются к нему, берут под руки.

ВЕРА. Дедушка, миленький, который день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

АННА. Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял. Держит себя донжуаном, бесстыдник!

ГЕНЕРАЛ (*целуя сестрам руки и щеки*). Девочки... подождите... не бранитесь... Честное слово... докторишки разнесчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то грязном киселе. Ужасно пахнет!.. Ужасно рад с вами увидеться. Как прыгаете? Ты, Верочка, совсем леди... очень стала похожа на покойницу мать. (*Анне*). А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет будешь такая же... егоза.

ДОКТОР. Вера Николаевна, с Днем Ангела! (*Целует Вере руку.*)

АННА. Доктор, что ж Вы вчера к нам не заехали, у меня была такая мигрень!.. Доктор у нас такой галантный, дамам руки целует. (*Воскресенскому*) А Вы не целуете, медведь? Кто Вам галстук завязал, дайте, я перевяжу...

СТУДЕНТ. Позвольте, я сам!

Павел Аркадьевич пристально смотрит на Анну. Она, пряча за смехом смущение, отходит от Воскресенского к столу.

Уходят в гостиную, рассаживаются за столом.

Сцена вторая

Двери в гостиную распахнуты. За столом ВЕРА, АННА, ГЕНЕРАЛ, КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ И НИКОЛАЙ, ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ ФРИЕССЕ, ДОКТОР. СТУДЕНТ стоит, не решаясь сесть за стол без приглашения. Все встают, поздравляя именинницу. Поют: «Многая лета...». Садятся.

НИКОЛАЙ (*заметив стоящего студента, приглашает его к столу, Слуге*). Сергей, стул!..

Слуга приносит стул для СТУДЕНТА, тот подсаживается к гостям.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Господа, расскажу вам историю... Однажды Николай решил как-то жениться на одной красивой богатой даме. Но муж дамы ни за что не желал давать ей развода.

НИКОЛАЙ (*с досадой*). Полно тебе врать.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Нет, уж изволь — я доскажу. Ну, как это бывает: муж нагрязнул неожиданно, и наш счастливый жених и башмаков не успел надеть. Так и бежал по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой, пока на углу его не задержал городской. Представьте себе это бурное объяснение, пока Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель.

ВЕРА. Вася, пощади моего брата. Ты знаешь, какой он самолюбивый.

ДУРАСОВА. Нет, нет, Вася, продолжай, прошу.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Но что вы думаете: свадьба чуть было не состоялась. Но в самую критическую минуту от-

чаянная банда лжесвидетелей вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате.

ДУРАСОВА. И Коля, конечно, пожадничал.

ФРИЕССЕ. Да что ж... Эх...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Но нет, не из скупости, конечно. Но, будучи принципиальным противником стачек и забастовок, Николай наотрез отказался платить лишнее. Ссылаясь, конечно, на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента.

ВЕРА (*смеясь*). Ну, нельзя же так...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Рассерженные лжесвидетели на известный вопрос, не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих к заключению брака, хором ответили: да! И доложили, что все показанное ими на суде под присягой — сплошная ложь, к которой их принудил угрозами и насилием господин прокурор.

НИКОЛАЙ. Это уж через край. И не смешно. (*Выходит из-за стола, уходит на скамейку террасы, закуривает*).

ГЕНЕРАЛ (*трясая от смеха*). Нет, здорово закрутил. Точно орех разгрыз!

ФРИЕССЕ. Что за орех?..

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. И лжесвидетели добавили, что муж этой дамы — самый почтенный человек на свете, целомудренный как Иосиф, и ангельской доброты!

ВЕРА. Ну, полно, господа, насмеялись...

ФРИЕССЕ. Доктор, водки?

ДОКТОР. Одному фрукту однажды предложили водки. А он ответил: «Нет, благодарю Вас: во-первых, я не пью, во-вторых, теперь еще слишком рано, а в-

третьих, я уже выпил!» (*Смеется*).

ФРИЕССЕ. Издание двадцатое. Возьмите икры..

ДУРАСОВА. Удивляюсь, как вы можете в такую жару пить водку!

ФРИЕССЕ. Русскому человеку от водки нет вреда.

ДОКТОР. Во благовремении... Отец Мелетий велит по третьей?

ФРИЕССЕ. Нигде так не едят, как в России. Да, господин студент, я знаю, что вам это неприятно, но — увы! — это так-с. Во-первых, рыба. Где в мире вы отыщете другую астраханскую икру?

ГЕНЕРАЛ. А камские стерляди, осетрина, двинская семга, белозерский снеток? Найдите, будьте любезны, где-нибудь во Франции ладожского сига или гатчинскую форель.

ФРИЕССЕ. Теперь возьмите дичь. Все, что вам угодно, и все в несметном количестве: рябчики, тетерки, утки, бекасы, фазаны на Кавказе, вальдшнепы. Потом дольше: черкасское мясо, ростовские поросята, нежинские огурцы, московский молочный теленок! Да, словом, все, все... (*К Николаю.*) А, Николай?.. (*Не дождав-шись от него ответа.*) Дайте мне еще винегретика!..

КНЯЗЬ. Доктор, а вина? Рекомендую вам вот это беленькое. Это «Орианда» девяносто третьего года. А вам, господин студент?

СТУДЕНТ. Я не пью, Василий Львович. Простите.

ДУРАСОВА. Браво, браво!

ФРИЕССЕ. Эт-то удивительно! Юноша, который не пьет и не курит.

ДУРАСОВА выходит из-за стола и направляется на скамейку террасы.

Скверный признак, молодой человек! Скверный признак! Кто не пьет и не курит, тот мне всегда внушает подозрение.

СТУДЕНТ. Простите.

ФРИЕССЕ (*продолжает*). Это — или скряга, или игрок, или развратник. Пардон, к вам сие не касательно, господин студент.

Анна поет. Пауза за столом.

ФРИЕССЕ. Доктор, а еще? Это — «Орианда»: право же, недурное винишко. Спрашивается, зачем я должен выписывать от колбасников разные там мазельвейны и другую кислятину, если у нас, в нашей матушке России, выделывают такие чудные вина. (*Студенту*) А? Как вы думаете, профессор?

СТУДЕНТ. У всякого свой вкус...

ФРИЕССЕ. Де густибус?.. знаю-с. Тоже учились когда-то... Чему-нибудь и как-нибудь, по словам великого Достоевского.

ДУРАСОВА. Пушкина, Александра Сергеевича! (*Начинает читать строфы из первой главы «Евгения Онегина»: «Мы все учились понемногу...»*)

ДУРАСОВА продолжает чтение вполголоса. АННА и ВЕРА садятся рядом и тихо поют: «Утро туманное, утро седое...».

ФРИЕССЕ. Пардон, вино, конечно, пустяки, киндершпиль, но важен принцип. Принцип важен, да! Если я истинно русский, то и все вокруг меня должно быть русское. А на немцев и французов я плевать хочу. И на жигов. Что, не правду я говорю, генерал?

ГЕНЕРАЛ. Да... собственно говоря — принцип... это,

конечно... да... *(Встает из-за стола и выходит на террасу к Николаю; закуривают.)*

ФРИЕССЕ. Горжусь тем, что я русский! О, я отлично вижу, что господину студенту мои убеждения кажутся смешными и, так сказать, дикими, но уж что поделаешь! Пардон. Да, я, смело говорю всем в глаза: довольно нам стоять на задних лапах перед Европой. Пусть не мы ее, а она нас боится.

ДУРАСОВА и сестры резко умолкают. АННА отворачивается от Фриессе, сидит, облокотившись о спинку стула, лицом в зал.

Пусть почувствуют, что великому, славному, здоровому русскому народу принадлежит решающее властное слово! Слава богу! Слава богу, что теперь все больше и больше находится таких людей, которые начинают понимать, что кургузый немецкий пиджак уже трещит на русских могучих плечах; которые не стыдятся своего языка, своей веры и своей родины; которые доверчиво протягивают руки мудрому правительству и говорят: «Веди нас!..»

СТУДЕНТ выходит из-за стола на террасу.

ДУРАСОВА *(с террасы)*. Поль, ты волнуешься!..

ФРИЕССЕ: Я ничего не волнуюсь, Людмила Львовна! Вот, например, господину Воздвиженскому кажется смешным...

СТУДЕНТ. Моя фамилия — Воскресенский...

ФРИЕССЕ. Виноват, я именно так и хотел сказать: Вознесенский. Виноват. Я говорю только одно: мы плю-

ем сами себе в кашу...

ДУРАСОВА. Приятного аппетита!..

ФРИЕССЕ. Мы продаем нашу святую, великую, обожаемую родину всякой иностранной шушере. Кто орудует с нашей нефтью? Жиды, армяшки, американцы. У кого в руках уголь? руда? пароходы? электричество? У жидов, у бельгийцев, у немцев. Кому принадлежат сахарные заводы? Жидам, немцам и полякам. Кто у нас доктор? Шмуль. Кто аптекарь? банкир? адвокат? Шмуль. Ах, да черт бы вас побрал! Ах, помилуйте, евреи! израэлиты! сионисты! угнетенная невинность! священное племя! Я говорю только одно: у нас, куда ни обернешься, сейчас на тебя так мордой и прет какая-нибудь благородная оскорбленная нация. «Свободу! язык! народные права!» А мы-то перед ними расстилаемся. «О, бедная культурная Финляндия! О, несчастная, поработанная Польша! Ах, великий, истерзанный еврейский народ... Бейте нас, голубчики, презирайте нас, топчите нас ногами, садитесь к нам на спины, поезжайте». Но этому безобразию подходит конец. Русский народ еще покамест только чешется спросонья, но завтра, господи благослови, завтра он проснется. И тогда он стряхнет с себя блудливых радикальствующих интеллигентов, как собака блох, и так сожмет в своей мощной длани все эти угнетенные невинности, всех этих жидишек, хохлишек и полячишек, что из них только сок брызнет во все стороны.

СТУДЕНТ (*поднимаясь со скамейки и подходя ближе к Фриессе*). Все, что вы изволили сейчас с таким жаром высказывать, я слышал и читал сотни раз. Вражда ко всему европейскому, свирепое презрение к инород-

цам, восторг перед мощью русского кулака и так далее и так далее... Все это говорится, пишется и проповедуется на каждом шагу. Но при чем здесь народ, Павел Аркадьевич, этого я не понимаю. Не могу понять. Народ — то есть не ваш лакей, и не ваш дворник, и не мастеровой, а тот народ, что составляет всю Россию. Зачем вы его-то пристегнули к вашим национальным мечтам? Он безмолвствует, но вы его лучше не трогайте, оставьте в покое. Не нам с вами разгадать его молчание... Ваш идеальный всероссийский кулак, жмущий сок из народишек, никому не опасен, а просто-напросто омерзителен, как и всякий символ насилия!..

ФРИЕССЕ. Продолжайте, молодой человек! Чудесные полемические приемы!..

СТУДЕНТ. Э, что там приемы!.. К черту! Извините, господа... *(Резко уходит вглубь сцены.)*

АННА. Сашенька, Александр Петрович, куда же вы? Сейчас подадут фрукты!..

Неловкая пауза.

ДУРАСОВА. Один мой знакомый, который хорошо знает арабский язык, так он сравнивал арабские поговорки с русскими, и получились прелюбопытные параллели. Например, арабы говорят: «Честь — это алмаз, который делает нищего равным султану». А по-русски выходит: «Что за честь, коли нечего есть!». То же насчет гостеприимства...

ДОКТОР *(перебивает ее)*. Знаете, летом в увеселительных садах выходят иногда дуэтисты-лапотники. Знаете: Раз Ванюша, крадучись, Дуню увидал И, схвативши ее ручку, Нежно целовал *(целует руку Дурасовой, та смеется)*.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ (*увлекает всю компанию за собой на скамейку террасы. В руках у него самодельный иллюстрированный журнал*). А сейчас вы услышите развернутое жизнеописание нашей возлюбленной сестры нашей Людмилы Львовны. Часть первая. Ребенок рос, его называли Лима.

ДУРАСОВА. Никто никогда меня так не называл!

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —
Явление страсти неземной!

АННА (*повторяет чуть слышно, глядя вдаль*). Страсти неземной!.. Страсти неземной... Устала! Как здесь хорошо. Прохладно.

СТУДЕНТ. Завтра и я буду толкаться по пароходу вместе с другими, буду знакомиться, смотреть на берега, на море. Хорошо!

АННА. Ну, что, сердитый воробей, еще не поостыли?

СТУДЕНТ. Поостыл. Завтра вот еду...

АННА (*быстро подходя к нему*). Саша!.. Саша, родной мой, вы не уедете! Нет, нет, милый, вы не уедете. Слышите? Ох, какой бестолковый... Слышите, не смейте ехать. Я не хочу. Дорогой мой, вы останетесь.. Останетесь? Да? (*Быстро целует его.*) Подите сюда... (*увлекает его за кулисы*).

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. ... И здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома.

ДУРАСОВА. Вот именно — склоняет!..

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Здесь самое бегство. Критическое положение — разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму:

Ты там все пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня...
Как хочешь с ней разделявайся ты,
А я бегу в кусты!
ДУРАСОВА. Ох, уж эти мне юнкера!..

Из-за кулис стремительно выходит взъерошенный СТУДЕНТ, торопливо поправляя одежду и надевая пиджак. За ним медленно появляется Анна, которая не сводит с него глаз.

АННА. Я обожаю тебя... Мой сильный, молодой, красивый... Милый мой, обожаемый! Зачем ты отвернулся? Ты сердишься? Тебе неприятно? О мой дорогой, неужели ты не замечал, что я тебя люблю? С самого начала, с самого первого дня... Ах, впрочем, нет! Когда ты к нам пришел в Москве, ты мне не понравился. Я думала: «У, какой злюка». Но зато потом!.. Милый, посмотри же на меня...

СТУДЕНТ. Анна Николаевна... Вы меня простите... Вы меня извините, я взволнован и не знаю, что говорю... Поймите меня и не сердитесь... Мне нужно побыть одному... У меня голова кружится.

АННА. Саша, это пройдет. Это пройдет, успокойтесь, верьте мне. Только не уезжайте...слышите? Вы ведь скажете мне, если захотите уехать?

СТУДЕНТ. Да.. хорошо... да... да.

АННА. Только не уезжайте!

Сцена третья

Веранда. Лунный полумрак. Княгиня ВЕРА и горничная ДАША.

ВЕРА (*горничной*). Что, Даша? Что вы меня позвали?

ДАША (*смущенно*). Ваше сиятельство...

ВЕРА. Что у вас такой глупый вид. И что такое вы вертите в руке?

ДАША. Я ей-богу не виновата, ваше сиятельство... Он пришел и сказал...

ВЕРА. Кто такой — он?

ДАША. Красная шапка, ваше сиятельство... Посыльный.

ВЕРА. И что же?

ДАША. Пришел на кухню и положил вот это на стол. Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в собственные руки. Я спрашиваю: от кого? А он говорит: здесь все обозначено. И с теми словами убежал.

ВЕРА. Подите и догоните его.

ДАША. Никак не догонишь, ваше сиятельство.

ВЕРА. Ну, давайте. (*Берет сверток*).

ДАША. Полчаса времени будет...

ВЕРА (*нетерпеливо*). Хорошо, хорошо, идите.

ДАША уходит. ВЕРА медленно, точно с опаской разворачивает сверток. На пол падает письмо. ВЕРА поднимает его, но не читает, а продолжает снимать бумагу слой за слоем. В ее руках вспыхивает золотой браслет с красными гранатами и одним зеленым посередине.

(*Шепотом*). Точно кровь! (*Разворачивает письмо*)

На сцену выходит ТЕЛЕГРАФИСТ и, обращаясь к ВЕРЕ, начинает говорить.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Почтительно поздравляя вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь препроводить вам мое скромное верноподданническое подношение.

ВЕРА. Ах, это — он!

ТЕЛЕГРАФИСТ. Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и — признаюсь — ни денег. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, и последняя по времени его носила моя покойная матушка. Посредине между большими красными камнями вы увидите еще один — зеленый. Зеленый гранат! Это весьма редкий сорт граната. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить кому-нибудь...

ВЕРА (*обращаясь к Даше*). Это он, без сомнения. Тот, кто еще до свадьбы писал мне глупые и дикие письма. А ведь семь лет прошло!.. Я должна показать Васе?.. И если показать, то когда? Сейчас же!.. Нет, после гостей. Да-да, уж лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним...

ДУРАСОВА. Вера, Вера, с кем ты там секретничаешь, иди же к нам. Ты только послушай, что болтает этот негодник, этот доктор... Мне щекотно! (*Хохочет.*)

Сцена четвертая

Гостиная. Те же лица. Входит ВЕРА.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Тише, тише, господа! Вот новая повесть: Княгиня Вера и Влюбленный телеграфист.

ГЕНЕРАЛ. Это что-то новое? Я еще этого не слышал.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

АННА. Ах, как интересно.

ВЕРА (*касаясь плеча мужа*). Лучше не надо.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ (*впав во вдохновение, не слушая ее*). Начало относится ко временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так...

ТЕЛЕГРАФИСТ (*читает текст Василия*). «Прекрасная Блондина! Ты, которая... бурное море пламени, kloкочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу»...

ГЕНЕРАЛ. Крепко завернул.

АННА. Юнкера так не умеют.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. По роду оружия я скромный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать вам моей полной фамилии — она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: ППЖ... Как благонравная и воспитанная девица она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху Васе, красивому молодому человеку. Вася, рыдая, возвращает Вере об-

ручальное кольцо. Мол, я не смею мешать твоему счастью, но умоляю — не делай сразу решительного шага. Подумай, проверь и себя, и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь как мотылек на блестящий огонь. Но знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой неопытную жертву.

ВЕРА садится на скамью террасы, рядом с ней садится невидимый друг ТЕЛЕГРАФИСТ. Смотрят в зал.

ДУРАСОВА (смеясь до слез). Князь Василий, пощади.

НИКОЛАЙ. Даже меня проняло. Хоть здесь на лицо преследование частного лица.

ГЕНЕРАЛ. Да разве ж это преследование. На Кавказе, помнится, завернул девку в бурку, на коня — и поминай, как звали.

Проходят к столу.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Но это не конец истории. Проходит полгода. В вихре жизненного вальса...

ФРИЕССЕ. В вихре жизненного вальса!.. (Подает знак, начинает звучать вальсок.)

Гости устремляются танцевать: ФРИЕССЕ с АННОТЙ, ДУРАСОВА с ДОКТОРОМ, ГЕНЕРАЛ с ДАШЕЙ.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ (продолжает). Вера забывает своего поклонника и выходит замуж за красивого Васю. Но телеграфист не забывает ее. Вот он, переодевшись

трубочистом и вымазавшись сажей проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду. На коврах, на подушках, на обоях, даже на паркете...

ДУРАСОВА (*танцует с Доктором, смеясь*). Дальше, дальше.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство...

ГЕНЕРАЛ (*смачно хохочет, танцует с Дашей*). Благосклонность... ха-ха-ха... (*Показывает руками.*)

НИКОЛАЙ (*посмеиваясь*). Какие небылицы возводит этот развратник на мою сестру-ангела.

ФРИЕССЕ. Ангел во плоти. (*Тянется поцеловать Анну.*)

АННА (*отталкивая его*). Слюнявый. Речь не обо мне. (*Прекращает танцевать.*)

ФРИЕССЕ. Вот оно что.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Вот телеграфист в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылается он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец, он умирает. Но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, полный его слезами... (*Телеграфист встает и уходит со сцены.*)

АННА (*Павлу Аркадьевичу, примирительно*). Я целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных служащих, а там еще белый бал...

ДОКТОР (*Дурасовой*). На котором, надеюсь, вы не откажете мне. В мазурке.

АННА (*обращаясь ко всем*). Но самое, самое мое больное место — это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей...

ДОКТОР. О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

АННА. Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами, полных наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать...

ДОКТОР (*заинтересованно*). Гм! Интересно, черт возьми...

АННА.... поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга. Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами...

ФРИЕССЕ (*жуя, неожиданно*). Миллионами!

АННА (*презрительно, между прочим*). Это... мой муж... Вы меня понимаете?

ДОКТОР. Еще бы! Как не понять!

АННА. Если спросишь родителей, не порочное ли дитя — они даже оскорбляются! И вот приют готов, освящен, все готово — ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы. Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка!

ДОКТОР. Анна Николаевна, зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

АННА. Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно!

ВЕРА (*резко встает*). Господа, еще чаю?

Все кроме ВЕРЫ и ГЕНЕРАЛА уходят с террасы и садятся за стол.

Сцена пятая

ВЕРА и ГЕНЕРАЛ на веранде. Двери в гостиную приоткрыты.

ГЕНЕРАЛ. Да, осень. Осень, осень... Что ж, пора мне собираться. Ах, жаль-то как. Только настали красные денечки. Так бы жить и жить здесь, на берегу моря...

ВЕРА. И пожилы бы у нас, дедушка.

ГЕНЕРАЛ. Нельзя. Нельзя, милая... А что говорить, хорошо было бы. Ты посмотри только, как розы-то пахнут. Отсюда слышу.

ВЕРА. Ах, дедушка. (*Берет из вазы две розы, пристраивает их в петлицу ГЕНЕРАЛА.*) Ну, красавец хоть куда. Ведь вы смолоду очень красивы были?

ГЕНЕРАЛ. Красавцем не был. Но и мной тоже не брезговали.

ВЕРА. Бывали влюблены?

ГЕНЕРАЛ. Ну, на постое. Помню, в Бухаресте хозяйка была прехорошенькая...

ВЕРА. Нет, дедушка, это просто бивуачное приключение армейского офицера. Вы скажите мне, неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью?

ГЕНЕРАЛ. Не знаю, милая, ей-богу не знаю.

Шум моря, крики чаек.

ВЕРА. Знаете, такой любовью, которая... ну, словом... святой, чистой...

ГЕНЕРАЛ. Право, не сумею тебе ответить. Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся — и вижу, что я уже развалина... Не вижу я настоящей любви. Да и в мое время не видел.

ВЕРА. Ну, как же это так, дедушка? Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

ГЕНЕРАЛ. Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит возле меня свежая девочка. Дышит — грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинна, и руки мяконикие, тепленькие... Фу ты, черт. А тут мама-папа ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими преданными глазами. А когда уходишь — за дверями быстрые такие поцелуйчики... За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет. Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери»... А у папы уже и глаза мокрые, и целоваться лезет... «Дай вам бог, смотри только, береги это сокровище». И вот через три месяца сокровище ходит в затрепанном халате, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные, с кухарками собачится, с молодыми офицерами ломается и закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жа-а-а-ком. Мотовка, неряха, жадная. И глаза

всегда лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже тому актеришке в душе благодарен. Слава богу, детей не было.

ВЕРА. Вы простили, дедушка?

ГЕНЕРАЛ. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, то, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло. И ничего не осталось, кроме презрения. Все к лучшему, Верочка.

ВЕРА. Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида. И вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?

ГЕНЕРАЛ (*помолчав*). Ну, хорошо, скажем — исключение. Но вот в большинстве случаев люди зачем жеятся? Усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, от окурков, от разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей... И потом семьей жить выгоднее, здоровей и экономнее. Кроме того, бывают ведь и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение — вовсе не труд, а одна радость.

Княгиня ВЕРА слушает, но будто тревожно ищет кого-то в темноте глазами.

Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про своего Васю. Право же, я его люблю. Он хороший парень... Когда крестить позовешь?..

ВЕРА (*смутившись*). Думаю, что никогда, дедушка...

ГЕНЕРАЛ (*продолжает*). Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией! Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные расчеты и компромиссы не должны ее касаться!

ВЕРА (*тихо*). Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка?

ГЕНЕРАЛ. Нет, решительно нет... Правда, был один случай. Да и то — глупость... одна жалость... какая-то кислота...

ВЕРА. Расскажите, дедушка, прошу, прошу вас!

ГЕНЕРАЛ. Ну вот, в одном полку нашей дивизии была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая. Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Этакая понимаешь, полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок — морфинистка... И вот однажды осенью присылают к нам в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, только что из училища. Ромашов была его фамилия, вспомнил.

В глубине сцены появляется СТУДЕНТ.

Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике

выскакивает звать ее лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Это штамп на всю жизнь... К Рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий.

Шум идущего поезда.

А он не мог — ходит за ней как привидение. Измучился, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем, смерть уже лежала на его челе. Ревновал он ее ужасно. Говорили, целые ночи простаивал под ее окном. И вот однажды устроили она в полку пикник. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обрато возвращались ночью по полотну железной дороги. Навстречу идет поезд. И вот, когда паровозные огни поравнялись с компанией, она ему шепчет: вы все говорите, что любите меня; а ведь если я прикажу, вы, неверное, под поезд не броситесь». А он, ни слова не говоря, бегом — и под поезд.

Шум поезда усиливается. Отчаянные гудки. СТУДЕНТ стремительно бросается на авансцену, падает навзничь.

Он все правильно рассчитал, так бы его ровно пополам и перерезало, но какой-то идиот вздумал его оттащить. Но не осилил. Прапорщик как уцепился за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

ВЕРА. Ох! Какой ужас!

ГЕНЕРАЛ. Пришлось прапорщику оставить службу. Стал попрошайкой... замерз где-то на пристани в Петер-

бурге...

ВЕРА. Ну, а женщин, дедушка, вы встречали любящих?

ГЕНЕРАЛ. О, конечно! Я даже больше скажу: уверен, почти каждая женщина в любви способна на самый высокий героизм. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни... Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие. Веришь ли, слезами обливался. Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепрощающей, на все готовой, скромной, самоотверженной?

ВЕРА. О, конечно, конечно, дедушка...

ГЕНЕРАЛ (*помявшись*). А скажи мне, Верочка, если только.... Что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда? А что выдумка по его обычаю...

ВЕРА. Разве вам интересно, дедушка?

ГЕНЕРАЛ. Ну, если тебе неприятно...

ВЕРА. Да вовсе нет... Знаете, я его не разу не видела. И фамилии его не знаю даже. Он только писал и подписывался инициалами: Г — С — Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то маленьком учреждении, но о телеграфе ни словом не упоминал. Очевидно, он следил за мной, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где я бывала, в каком обществе, как была одета. Сначала его письма носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя были вполне целомудренны. Но однажды я письменно — смотрите, дедушка, не проболтайте, никто не знает — попросила его больше не утруждать меня своими любовными из-

ляниями. С тех пор он замолчал о любви, и стал писать лишь изредка: на Пасху, на Новый год, в день моих именин. Вот и сегодня прислал письмо и — представьте — подарок, причем не из дешевых.

ГЕНЕРАЛ. Интересно.

ВЕРА. Да, браслет из красных гранатов. А посередине — один огромный. Зеленый как изумруд.

ГЕНЕРАЛ. Отродясь ни видал зеленых гранатов. Каков, а, твой таинственный обожатель! Может, быть, конечно, это какой-то сумасшедший. Но может быть, Вера, твой жизненный путь пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины...

Из-под обрыва доносится шум сваливающихся камней.

ВЕРА (со страхом и трепетом). Неужели он здесь?

ГЕНЕРАЛ (выглядывает за край веранды). Где? Там?

ВЕРА (кутаясь). Где-то здесь, я чувствую... Пойдемте, дедушка, скорее... Холодом повеяло...

Все гости встают из-за стола и уходят вглубь сцены, на встречу им движется ТЕЛЕГРАФИСТ. Он подходит к лежащему на авансцене Студенту, помогает ему подняться и уводит его со сцены.

II действие

Сцена шестая

В гостиной за столом КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ и НИКОЛАЙ. Княгиня ВЕРА сидит на стуле на первом плане. В правом углу — комната ТЕЛЕГРАФИСТА. Он и СТАРУХА сидят в разных концах комнаты.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ *(без убеждения)*. Но это же пустяки, Коля, так — розыгрыш какой-то. Или неприятный сон. *(Вера выходит.)*

НИКОЛАЙ *(раздраженно)*. А я давно говорил, я настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что и ты, и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера.

В дверях появляется ВЕРА с граммофонной пластинкой в руках. Глядя на ВАСИЛИЯ, она заводит патефон и ставит пластинку.

НИКОЛАЙ *(продолжает, раздражаясь все больше невниманием Веры и Василия к его словам)*. Мы, Верочка, говорим сейчас с князем Василием об этом твоём сумасшедшем. О твоём Пе Пе Же.

ТЕЛЕГРАФИСТ *(не обращая ни к кому)*. Ге эС Же.

ВЕРА. ГеЭсЖе.

НИКОЛАЙ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Переписки вовсе не было. Писал лишь он один...

Княгиня ВЕРА при этих словах отступает в тень.. Выходит Слуга, выносит поднос с графинчиком и рюмкой.

НИКОЛАЙ. Я извиняюсь за выраженье.

ВЕРА. И я не понимаю, почему ты называешь его моим. Он такой же твой, как и мой.

НИКОЛАЙ. Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надобно положить конец. *(Выпивает рюмку.)* Дело по-моему переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, так это только о добром имени моей сестры. О ее имени и о твоём, князь Василий.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля.

НИКОЛАЙ. Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ *(потеряв прежнее спокойствие)*. Не вижу, каким способом.

НИКОЛАЙ. Вообрази себе, что этот идиотский браслет, что эта чудовищная поповская штучка *(брезгливо отодвигает браслет)* останется у нас. Или мы ее выбросим, или подарим Даше... Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера принимает его подарки. А во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра — жемчужное кольцо. А там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог.

ВЕРА стремительно пересекает сцену, направляется к граммофону, резко выключает музыку.

...И князя Шеины будут вызваны в суд в качестве свидетелей... Милое положение!

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ (*вскочив*). Нет, нет, браслет надо немедленно отослать обратно.

ВЕРА (*нервно*). Я тоже так думаю. И как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

НИКОЛАЙ (*доволен тем, что его речи возымели эффект*). О, это-то совсем пустое дело. Нам известны инициалы этого Пе Пе Же... Как там, Вера?

ВЕРА. Ге Эс Же.

НИКОЛАЙ. Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-либо я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения будет у меня в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом за два часа я буду знать в точности и адрес, и фамилию этого молодчика. И даже часы, в которые он бывает дома. А раз так, то мы немедленно возвратим ему его сокровище и примем меры, что б он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ (*отводя Николая в сторону*). И что ты думаешь делать?

НИКОЛАЙ. Что? Поезду к губернатору и попрошу...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения. Тут прямая опасность попасть в смешное положение.

НИКОЛАЙ. Ах, все равно! Поеду к жандармскому полковнику.

ВЕРА. Фи, через жандармов!.. *(Поднимается)*.

НИКОЛАЙ *(продолжает)*. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит на него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается. И кричит: я, сударь, этого не потерплю-ю-ю! *(Уходит.)*

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ *(Вере)*. Лучше уж в это дело ни кого из посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни... Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках...

ВЕРА. Мне почему-то стало жалко этого несчастного.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Лучше уж я сам пойду к этому... к этому юноше... хотя бог его знает, может быть ему шестьдесят лет? Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию.

НИКОЛАЙ *(появляясь внезапно, уже в пальто)*. Тогда и я с тобой! Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить... Жалеть его нечего! Если бы такую выходку с письмами да браслетами позволил бы себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал — сделал бы я. А в прежнее время просто велел бы отвести на конюшню и наказать розгами... Так что же, князь, едем!

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ *(с неохотой)*. Ну, если это так необходимо. *(Хочет обнять жену, словно прощаясь.)*

ВЕРА *(уклоняясь, шепотом)*. Оставь меня. Я знаю... я чувствую, что этот человек убьет себя.

Сцена седьмая

В правом углу сцены — дурно обставленные меблированные комнаты, в которых снимает угол ТЕЛЕГРАФИСТ. В левом углу сцены ДУРАСОВА, шокированная и заинтересованная, читает «Суламифь», иногда, смакуя и посмеиваясь, цитирует наиболее поразившие ее места ДАШЕ.

НИКОЛАЙ (брезгливо). Мышами пахнет. Кошками. Керосином и стиркой...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Подожди немножко, дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

НИКОЛАЙ. Кажется, этажом выше. И номеров квартир не разглядишь. Есть у тебя спички?

Загорается огонь спички. Перед КНЯЗЕМ ВАСИЛИЕМ и НИКОЛАЕМ — СТАРУХА.

Господин Желтков дома?

СТАРУХА. Дома, прошу. (Громко.) Пан Желтков, здесь до вас спрашивают.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Войдите.

НИКОЛАЙ (высокомерно). Если не ошибаюсь, господин Желтков?

ТЕЛЕГРАФИСТ. Желтков. Очень приятно.

НИКОЛАЙ (князю Василию). Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Прошу покорно. Садитесь.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Благодарю вас.

НИКОЛАЙ. Мерси.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ и НИКОЛАЙ остаются стоять.

Мы к вам всего только на несколько минут. Это — князь Василий, губернский предводитель дворянства. Я — товарищ прокурора, зять князя. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня. Вернее, супруги князя, а моей сестры.

ДУРАСОВА (*смеясь, цитирует*). Побегу же я по дороге, догоню моего милого. Пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя... (*Смотрит на обложку книги.*) «Суламифь»...

ТЕЛЕГРАФИСТ (*Князю Василию*). Я к вашим услугам, ваше сиятельство.

НИКОЛАЙ. Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь. (*Достает сверток, кладет на стол.*) Она, конечно, делает честь вашему вкусу. Но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Я сам знаю, что виноват... Может быть, позвольте стаканчик чаю?

НИКОЛАЙ. Видите ли, господин Желтков. Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи лет?

ТЕЛЕГРАФИСТ. Да.

НИКОЛАЙ. И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер...

ТЕЛЕГРАФИСТ. Да.

НИКОЛАЙ. Хотя, согласитесь, это не только можно было бы, но и нужно было бы сделать. Не правда ли?

ТЕЛЕГРАФИСТ. Да.

НИКОЛАЙ. Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили границы, где кончается наше терпение. Понимаете? Кончается! Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к власти. Но мы этого и не сделали. И я рад теперь, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал в вас благородного человека.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Как вы сказали?

НИКОЛАЙ. Ну, камильфо, джентльмена...

ТЕЛЕГРАФИСТ. Нет, не то. Вы сказали, что хотели обратиться к власти?

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Будет, Коля.

НИКОЛАЙ. Я сказал только...

ТЕЛЕГРАФИСТ (*демонически хохочет*). Вы хотели обратиться к власти — именно так вы сказали! (*Садится.*)

ХОЗЯЙКА (*вторит*). Вы сами это сказали!..

НИКОЛАЙ. В подобных обстоятельствах... князь не может же...

ТЕЛЕГРАФИСТ (*развязно*). Вы меня извините князь, что я сижу? (*Николаю.*) Ну-с, дальше?

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Сяду и я.

НИКОЛАЙ. Видите ли, милый мой, эта мера от нас никогда не уйдет. Врываться в чужое семейство...

ТЕЛЕГРАФИСТ. Виноват, я вас перебыю...

НИКОЛАЙ (*срывается на крик*). Нет, виноват, теперь уж я вас перебыю.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Как вам угодно. Говорите. Я вас слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя.

ДУРАСОВА. — Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблок. *(Смеется. Трясет головой.)*

ТЕЛЕГРАФИСТ *(Князю Василию)*. Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен говорить с вами, князь, вне всяких условностей. Вы меня слушаете.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Слушаю.

НИКОЛАЙ. Сейчас не до разглагольствований.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Ах, Коля, да помолчи ты. *(Телеграфисту.)* Говорите.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это.

ДУРАСОВА. Заклинаю вас, дочери иерусалимские: если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью...

ТЕЛЕГРАФИСТ. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок... именно посылка браслета... была еще большей глупостью. Но... вот я вам прямо гляжу в глаза... и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... предположим, что вам это неприятно... скажите, что вы сделали бы для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как... как здесь говорили? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключение меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть. Вы хотите, я приму ее в

какой угодно форме.

НИКОЛАЙ. Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываете от преследований Веры Николаевны...

ТЕЛЕГРАФИСТ (*жадно*). Либо?

НИКОЛАЙ. Либо, если вы на это не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, наши знакомства, и так далее.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Князь, вы позволите мне отлучиться на пару минут. Не скрою от вас, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. С вашей женой... Уверяю вас, что все, что можно будем вам передать, я передам... Я...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Идите.

ТЕЛЕГРАФИСТ уходит.

Телефонный звонок в квартире князей Шеиных.

ДАША. Вера Николаевна! Вас к телефону!

ВЕРА выходит.

НИКОЛАЙ (*кричит Василию*). Так нельзя! Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Подожди. Сейчас все это объяснится. Главное это то, что я вижу его лицо. И я вижу, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо.

НИКОЛАЙ. Но ведь он...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Подумай, Коля, разве ж он виноват в своей любви. И разве можно управлять таким чувством, как любовь. Чувства, которое до сих пор не нашло себе истолкователя.

ХОЗЯЙКА. Первое послание апостола Павла к коринфянам...

НИКОЛАЙ (*присвистнув*). Куда ее понесло...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души.

ХОЗЯЙКА (*читает*). Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви — то я ничто.

НИКОЛАЙ. Это декадентство.

Входит ТЕЛЕГРАФИСТ.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Я готов! И завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие... это я вам говорю, князь... Вы позволите мне написать еще одно письмо княгине Вере Николаевне?

НИКОЛАЙ. Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем!

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Хорошо. Пишите.

ТЕЛЕГРАФИСТ (*князю Василию просто*). Вот и все. Вы обо мне более не услышите. И, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я спросил,

можно ли мне остаться в городе, чтобы хоть изредка видеть ее, конечно, не показываясь ей на глаза...

НИКОЛАЙ (*насмешливо*). И что же она ответила?

ТЕЛЕГРАФИСТ. Она ответила: ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история!

НИКОЛАЙ. Так.

ТЕЛЕГРАФИСТ (*со смыслом*). Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее.

НИКОЛАЙ. Как же иначе.

ТЕЛЕГРАФИСТ (*торжественно*). И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог.

Сцена восьмая

Утро. В левом углу — та же гостиная. ВЕРА сидит за столом и разворачивает газеты. В центре — стоящая перпендикулярно зеркалу сцены скамья, на которой лежит Желтков. Под скамьей лежит пистолет. В левом углу сидит Хозяйка и находится князь Василий. Звучит голос Хозяйки, читающий Послание.

ХОЗЯЙКА. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею — нет мне в том никакой пользы.

ДАША (*повторяет как бы про себя*). Нет мне в том никакой пользы... (*Вере*) Кофе можно подавать, ваше сиятельство?

ВЕРА. Подождите, Даша... Это... это сегодняшняя газета.

ВЕРА. А это... это сообщение в рамке.

ДУРАСОВА (*читает*). Загадочная смерть. Вчера вечером... вчера вечером...

ВЕРА. Даша, дайте же мне воды...

ДУРАСОВА (*взволнованно продолжает читать*).

Вчера вечером, около семи часов, покончил собой чиновник телеграфного ведомства Г. С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по обстоятельствам личным... по обстоятельствам личным. (*Жадно читает*). Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля решено не отправлять труп в анатомический театр...

ВЕРА. Боже мой! Почему, почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход. И что это было: любовь или сумасшествие? Сумасшествие или... любовь? Что там говорил вчера вечером дедушка? Почему знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь...

ДАША. Ваше сиятельство!

ВЕРА (*очнувшись*). Да, что вам?

ДАША (*появляясь с письмом*). Письмо почтальон принес.

ВЕРА. Давайте... (*Читает про себя.*)

ТЕЛЕГРАФИСТ (*во время монолога он медленно начинает переодеваться во все чистое. Хозяйка подает ему новую рубаху, помогая ему*). Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне любовь к вам, как огромное счастье. Случилось так, что меня не интересует в мире ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я ...

уезжаю. И никогда не вернусь. И ничто Вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете...

ВЕРА (*повторяет едва слышно*). Бесконечно благодарен вам за то, что вы существуете...

ТЕЛЕГРАФИСТА. Я проверял себя — это не болезнь. Не маниакальная идея. Это — любовь, которую богу было угодно меня за что-то вознаградить. Уходя, я в восторге говорю: да святится имя Твое.

ВЕРА. Не надо больше, прошу...

ТЕЛЕГРАФИСТ (*с чувством*). Восемь лет назад я увидел вас в цирке, в ложе, и тогда в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около вас. У ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите.

ВЕРА кивает.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Я все отрезал. Но все таки думаю и уверен, что вы обо мне вспомните... Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай бог вам сча-

стья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки...

Входит КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ.

ВЕРА. Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что ужасное. Вероятно, вы с Николаем сделали что-нибудь не так, как нужно.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в искренности его чувств к тебе...

Выстрел за сценой.

ВЕРА. Он умер?

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Да, умер.

ВЕРА. Умер...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Я скажу, что он любил тебя, а во-все не был сумасшедшим.

ВЕРА. Любил, да...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Я не сводил с него глаз, и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя.

ВЕРА. Да... да...

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мной мертвый человек.

ВЕРА. Ты понял?

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать. Что мне делать...

ВЕРА. Вы были с ним неловки.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ. Я сам поехал бы. Но Николай испортился мне все дело...

ВЕРА. Вот что, милый. Тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

Сцена девятая

Меблированные комнаты. Все исполнители на сцене.

СТАРУХА. Кто там?

ВЕРА. Можно войти?

СТАРУХА (*грубо*). Кого вам угодно?

ВЕРА (*властно*). Господина Желткова.

СТАРУХА (*разглядев ее*). Ах, пани! Пожалуйста, пожалуйста, вон первая дверь направо. НО только там... там сейчас...

ВЕРА. Туда?

СТАРУХА. Он так скоро ушел от нас. Не знаю уж, что и думать. Быть может растрата?

ВЕРА. Какая растрата?

СТАРУХА. Ну, дело молодое, пани сама знает, любовь там, то да се. Вот и потратил казенные деньги. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот-семьсот рублей я смогла бы собрать и внести за него.

ВЕРА. Но в газете о растрате ни слова.

СТАРУХА. Конечно-конечно, это одно предположение. Но тогда с чего бы? Если бы вы знали, что за чудный был человек. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным

сыном.

ВЕРА. Восемь лет. Да, восемь лет... *(Подбирая слова.)* Я... друг вашего покойного квартиранта. Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни. О том, что он делал и что говорил.

СТАРУХА *(понижая голос)*. Намедни к ним пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место. Затем два господина ушли. А он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик. А потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Прислуга приходит и стучится, он не отвечает, потом еще и еще раз. И вот, должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

ВЕРА *(тоном приказа)*. Расскажите мне о браслете.

СТАРУХА. Ах, ах, ах, браслет — я и забыла. Почему вы знаете?

Берет браслет, подходит к сидящим спиной к залу актерам и отдает им браслет. Они начинают передавать браслет друг другу, подняв руки над головами. Браслет как бы плывет в воздухе.

Он, перед тем как написать письмо, пришел ко мне и сказал: вы католичка? Я говорю: католичка. Тогда он говорит: у вас есть милый обычай вешать на изображение Матки Боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот, исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону? Я ему обещала это сделать. *(Подходит и забирает браслет себе.)*

ВЕРА. Его гроб теперь здесь?

СТАРУХА. Знаете, лицо такое важное. А губы улыбаются, блаженно и безмятежно. Как будто он перед смертью какую-то глубокую тайну узнал...

ГЕНЕРАЛ. Любовь долготерпит,

Милосердствует,

Любовь не завидует,

Любовь не превозносится,

АННА. Не гордится,

Не бесчинствует,

Не ищет своего,

Не раздражается,

Не мыслит зла,

ДУРАСОВА. Не радуется неправде,

А сорадуется истине;

НИКОЛАЙ. Все покрывает, всему верит,

Всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает,

ФРИЕССЕ. Хотя и пророчества прекратятся,

И языки умолкнут, и знание упразднится.

СЕРГЕЙ Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем...

ДАША. Когда же настанет совершенное,

Тогда то, что отчасти, прекратится.

СТУДЕНТ. Когда я был младенцем,

То по-младенчески говорил,

По-младенчески мыслил,

По-младенчески рассуждал;

А как стал мужем,

То оставил младенческое.

ХОЗЯЙКА. Теперь мы видим как бы

Сквозь тусклое стекло,

Гадательно,
Тогда же лицом к лицу;
ДОКТОР. Теперь знаю я отчасти,
А тогда познаю,
Подобно, как я познан.
А теперь пребывают сии
Три: вера, надежда, любовь;
ГЕНЕРАЛ. Но любовь из них больше.

На сцене появляется ТЕЛЕГРАФИСТ с граммофонной пластинкой. Звучит музыка. ВЕРА плачет.

ТЕЛЕГРАФИСТ. Ты обо мне помнишь? Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Вот, я чувствую твои слезы. Успокойся, мне спать так сладко, сладко, сладко.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ (*подходит к Вере*). Вера, ты плачешь? Что с тобой?

ВЕРА. Он простил меня теперь. Все хорошо.

МЕРТВЫЕ В ТЕАТРЕ¹

¹ *Впервые эссе было напечатано: ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ, №1, 1991*

Любой из нас в театре — профан, как все мы, скажу высокопарно, лишь любители на подмостках жизни. Дети в незнакомом саду, мы озираемся на нагромождение давних декораций. Что все эти, нанизанные на нитку времени, сморщенные фаллы, сношенные котурны, сломанные игрушки, черепа с рогами и медвежьи шкуры, мятые плащи, визитки, рамы без портретов — прихоть сюрреалиста? Зачем нас обступает хоровод покойников и ряженных, шаманов и шарлатанов, непристойных старух, девственниц с младенцами на руках, магдалин, кузнецов, продавцов мазей, купцов, королей, куртизанок? Неужели же сам Дионис, в толпе сатиров, в лодке на колесах явился разыграть какую-нибудь нынешнюю драму, смахивающую на литературный коллаж, читаемый на голоса? И помнят ли эти человек сто, променявшие сегодня дом ли, храм ли на вечер в обшарпанном зале, на убогое представление, разыгрываемое несколькими необученными актерами, ко всему, кажется, простуженными, — помнят ли слова Жана Жене, что Театр должно поместить «как можно ближе, воистину в оберегающей тени места, где стерегут мертвецов»?

Что хотел сказать Жене этой фразой? И не таится ли ошибка в неуклюжем переводе? По мне так это звучит восхитительно, и глагол «стеречь» исполнен всяческого смысла. Речь не о кладбищенском уюте, тогда следовало бы сказать «охраняют». Но мертвецов именно стерегут, чтоб они не вырвались из своих могил. Речь о сберегании покоя живых, и в Театре, по-видимому, должен справляться какой-то магический обряд с тем, чтобы

охранить нас от неприятностей со стороны покойников. Именно в Театре, ибо за его стенами никому не обещана безопасность, и всякий рано или поздно услышит голоса умерших, зовущие за собой.

Что это за обряд? Вопрос этот равен другому — что же это за Театр?

Мне хотелось бы избежать общих мест расхожего ритуально-мифологического чего-либо ведения. И лень перечитывать манифесты — немногочисленные, правда — разгребателей театральных авгиевых конюшен, тех, кто не мог смириться с потерей памяти театром нового времени, не прощал ему затмения воображения, забвения смысла древних символов и попрания законов сценической поэзии; немногим из них удалось избежать участи книжников и археологов, и созидатели, испытав однажды головокружение на краю таинственной бездны, отказывались рано или поздно от своих грез, оставляя поле дилетантам и литературоведам. Мне же хотелось бы Театр вспомнить.

Именно вспомнить. Как тужатся вспомнить сон, и жанр подобных воспоминаний далек от объективности исследования. Я ведь даже не знаю твердо — снилось ли мне что-нибудь подобное, и это мучительное чувство. Недавно я забрел на выставку Куприна. И до сих пор не могу припомнить, в каком детстве меня ранили странные тона этих натюрмортов, эти розовато-лиловые бумажные цветы с черной каймой на лепестках. Не в предыдущей ли жизни это было? Точно так и с театром. Всякий раз, когда я оказывалась теперь за кулисами, я недоумеваю — когда доводилось слышать эти запахи? Бродский говорит где-то, что искусство — это не луч-

шее, но альтернативное существование; не попытка избежать реальности, но попытка оживить ее. Это сказано о памяти, о поисках утраченного времени, утраченного еще до рождения. В сущности надо бы сказать, что повседневность — вот альтернативный искусству проект, она — попытка умертвить сущее, в чем как правило и преуспевает, а нам остается лишь напрягать память, — но это к слову, лишь оговорка.

Так вот о манифестантах нашего века, которых, ставя все с ног на голову, называли отчего-то театральными авангардистам. Кажется, их заставляло смириться сознание тяжести и неискупаемости первородного театрального греха. Век Перикла — вот занавес, за который удастся подглядеть лишь в щелку. Но видно, что и тогда прошли уж века, как культурные герои, легендарные цари, посланцы богов, а подчас и сами боги — стали персонажами, фаллические флиаки обернулись подражательными комедиями, предшественницами аристофановых, а трагедии обнаружили зачатки исторической драмы, втиснув миф в пятиактное сценическое повествование.

Было бы опрометчиво думать, что все это не имеет к нам никакого отношения. То, что мы принимаем за развитие, можно рассматривать и как неуклонную деградацию. Пусть современный ребенок не ведает, что кукла, которую он баюкает, изображает маленького покойника, но как мог забыть нынешний гример, что рисует на лице актера маску мертвеца? И это лишь отговорка, что провал в памяти случился уже тогда, когда толпа вертлявых демонов, в который обратились предки, оголяющиеся сатиры и актеры, ряженные в шкуры

недавних тотемов, — все повалило на подмости. Зритель перестал верить, что вчерашнего шамана взаправду покидает душа. Обряд распался, публика уже не цеплялась за край родовой цепи, всей своей тяжестью перевешивающей в темную область небытия. Организовался буфет. Появился гардероб. Оказалось, что с него отныне Театр и начинается. Здесь уж рукой подать до нашего «Современника».

Половинки обряда — вот комедия и трагедия. На подмостках погребальный плач и ритуальный смех никогда не звучали слитно. Формулы древних заклинаний и магические жесты в театре хранятся вместе с прочим реквизитом. Суровая древняя эзотерика тайных союзов — лишь способ напугать публику, а священные недавно маски — средство ее рассмешить. Что уж там, не будучи поклонниками всяческого прогресса, прольем слезу-другую над останками мечты о веке чистой магии ритуального пра-театра, а потом взглянем, что из этого вышло.

Реверанс в сторону пуристов: мои симпатии к комедии — лишь мои симпатии, впрочем, дальше я скажу о некоторых причинах подобной склонности. Так вот, гармонизирующее аполлоново начало не менее слепо, чем влечение к дионисийскому хаосу: трагедия, встав на котурны строгой формы, никогда не могла свернуть с линейного пути. Она сублимировала древний очистительный обряд, усвоив понятие вины, и осталось всего тысячелетие, чтобы сбиться в дидактику и нравоучение, и еще тысячелетие, чтобы приписать функции рока — социальным обстоятельствам.

Трагический протагонист, сколь ни предупреждай

его хор, влечется к изгнанию, к исходу, к водворению в Аид, откуда для него уж нет обратного билета. Комический герой, подобно умирающим и воскресающим зверям, царям и богам, если и оказывается в стране мертвых — всегда находит путь обратно, возвращается в мир живых точно таким, каким вступил в воды Стикса. Обратим внимание на место действия: в трагедии это, как в чеховой драме, всегда — дом героя; сюда являются за ним посланцы судьбы и смерти, чтобы увести с собой за кулисы. В комедии пространство действия не евклидово — риманово; низ и верх мироздания свободно меняются местами, и герой, только что спрятавшись в левой кулисе, в тот же миг появляется из правой. Несколько заостряя, можно сказать: в трагедии Смерть приходит к протагонисту на дом, в комедии герой побеждает Смерть, орудуя в ее собственном стане. Комедия не сублимирует обряд, но воспроизводит древний ритуал; ее поезд — пойдем на такое сравнение — стоит на запасных путях прямой дороги литературы, экспресс которой, проскочив в гуттенбергову страну, спешит отгрузить греческие трагедийные формы под всячески идеологичное содержание — будь то «Сид», «Эрнани» или «Сталевары», и содержание это в худших случаях застывает на сцене то проповедью, то партсобранием. Бездумная и иррациональная комедия зачастую остается самиздатом. Она показывает нос из площадного балагана, а в «просвещенные» эпохи ее печатают-таки на плохенькой бумаге, но всякий раз призывают на помощь тогда, когда театр находится при последнем издыхании.

Здесь можно припомнить, что уже ранние мисте-

рии победившего христианства используют костюмный реализм, вкус к которому воспитан римской драмой, священник едет на осле, осмеиваемый толпой, переряженной иудеями; первые христианские драмы полны заимствований из Еврипида, и даже католическая литургия на первых порах использует сценический трагедийный канон. И только Дурак, собрат шпагоглотателей и гистрионов, истинный культурный герой Средневековья, портит дело, помогая Масленице одолеть Пост.

Дурак пробирается в мистерию контрабандой, копируя и выворачивая ее прежде в карнавале, что портит, конечно, ее репутацию. Церковь оттесняет мистериальные действия сначала на паперть, потом — на кладбище. Черномазый мавр поднимает свою трубу, возвещая начало веселого ночного праздника Плясок Серти, и мы задумаемся, быть может, слова Жене нужно понимать иначе: тень кладбища призвана оберечь сам Театр?

История склонна к колебательным процессам, и Театр — не исключение: он движется по кругу. Сколько раз бывало, что суровая идеологическая драма, наследница трагедии, загоняла комедию в подполье; кажется, еще чуть-чуть — и последняя канет в Лету. Дурак отправился в преисподнюю, и делалось все, чтобы он оттуда не возвращался, как вдруг он снова появлялся перед зрителем, в воде не утонув, в огне не сгорев, готовый хоть сейчас улечься с царской дочерью. Основным эстетическим оружием драмы в этой безнадежной борьбе во все времена было — правдоподобие, реализм — сказали бы мы, подражание повседневному эмпирическому опыту. Комедия же, условная и ирра-

циональная, полагалась лишь на воображение. Поскольку официозу всегда импонирует эмпиризм, то власти всегда были на стороне первой и против второй. И вот на сцене под пологом из голубого сукна с намалеванными на нем звездами расставляется настоящая утварь и реставрированная мебель, костюмы актеров — с потугами на достоверность, живые лошади взнузданы и — члены трупы, а для пытки апостола Фомы припасены натурально раскаленные докрасна железные полосы, которые палач в последний момент подменяет с ловкостью заправского фокусника. Так чудо оборачивается подсобным трюком, моралите вытесняет миракль, иллюзия подлинности — уже требование эстетическое, и это все за сотни лет до Гольдони, Дюма-сына, Рейнхардта и Станиславского. Веселовский в книге «Старинный театр Европы» описывает, как готовились в позднем Средневековье большие мистериальные представления — по строгой разрядке: постройкой Ноева ковчега ведал цех плотников, омовение ног производилось водовозами, а свадьба в Кане Галилейской разыгрывалась, как нетрудно догадаться, виноделами, — чем не подготовка к торжествам на Красной площади. Комедия отсиживалась в народном театре, а интеллектуалы из тогдашнего истэблишмента осыпали ее насмешками уже за то, что в ней достаточно было пересечь сцену, чтобы попасть из Африки в Азию. Всегда были кратки времена, когда в театре в цене — метафора, а не тяжеловесная аллегория, поэзия, а не назидание, что далеко ходить — Мейерхольд начал с любви «к трем апельсинам», а кончил мы помним чем. Конечно, власть неспроста покровительствует драме во все времена — она

ее ангажирует. Это никогда не проходит безнаказанно, и драма не может избавиться от идеологических замашек даже когда пытается эмансипироваться и принимается фрондировать. Высокий театр то прислуживает папе и королю, а то, в циклопической мистерии Страстей Господних, изображая инцест в семье Ирода намекает на обстоятельства половой жизни герцога Бургундского; ефремовский МХАТ то показывает честных ленинцев в коллажах Шатрова на умиление генеральному секретарю, то бросается обличать партию в какой-нибудь «Серебряной свадьбе», — и во всех случаях театр остается одинаково плоским. Но вот что поразительно: даже отбившуюся от рук реалистичную драму власть предержащие всегда и везде предпочитали — комедии. Вольные намеки на злобу дня, которые в наши дни именуют сатирическими, что оскорбительно для Диониса, зажарившего бы всех этих райкиных с хазановыми на медленном огне, не требуют напрягать фантазию, надо лишь решить — казнить за них или миловать. Неподконтрольное самостийное бытие комедии, напротив, внушало официозу ненависть и страх, и отнюдь не из-за «сатиры»: вспомним хоть проходящие через всю историю европейского театра запрета французскими королями — масок, русским Алексеем Михайловичем — харь и личин. Сама условность балагана и фарса заставляет подозревать подвох, и тем хуже для них, что их трудно схватить за руку. Здесь приходит на ум судьба Сухово-Кобылина: русская цензура, разрешившая к постановке желчное и трагическое «Дело», была более сурова, чем полтора десятка лет спустя, когда она же — вплоть до смерти автора — упорно запрещала фарсо-

вую «Смерть Тарелкина». Оно, конечно, цензура политическая податливее, чем цензура эстетическая, поскольку первая исходит всего лишь от преходящей власти, вторая же — от значительно менее брэнной «общественности», от менталитета полуобразованной массы. Заканчивая этот затянувшийся абзац, скажем, что, по-видимому, мы добрались до главного: комедия замешана на том, что так не любят ни власть, ни общественность — на стихийности.

Будем поточней, перестанем валить в кучу обряд, народный анонимный фарс и авторскую комедию, договорившись лишь, что сквозь комедийный литературный текст нового времени всегда просвечивают черты ритуала, игры и балагана. И взглянем на вполне оформленный литературно «судебный фарс» «Адвокат Пателен» — мостик от комедии дель'арто к Мольеру и настоящую шкатулку сюжетных комедийных приемов «развитого» позднего театра. Вот Пателен узнает в суконщике черты его отца, вот прибегает к трюку с мнимой болезнью, вот пастух якобы теряет дар речи, когда пришла пора объясняться по поводу мнимой же гибели овечьего стада. Этот каскад знакомых комедийных положений исчерпывается, вообще говоря, конечным числом сюжетных поворотов: мнимая болезнь, глубокий сон, потеря памяти, внезапная страсть, трактуемая как род недуга, временная изоляция героя или его внезапное исчезновение, превращение, которое может быть передано с помощью простого обмена платьем, раздвоение, часто обыгрываемое как двойничество или как путаница с близнецами, игра с зеркалами, ширмами, пустыми рамами, портретами, статуями, наконец,

маскирование и травестия. В этом перечне — основные ходы не только народной комедии, но и комедии барокко — «плаща и шпаги» в Испании, Гольдони и «хорошо сделанной» комедии Скриба, все комедии положений и «Комедия ошибок» вообще говоря, выстроены так же. В этом должен быть свой смысл.

Легко заметить, что в каждом случае налицо удвоение персонажа, который одновременно и то, и это. Разумеется, знает этот прием и трагедия: не равен самому себе Эдип, а Гамлет изображает безумца. Но зритель знает об Эдипе все, и не ловится на удочку мнимой болезни датского принца. Кроме того, и тут и там игра в игре психологически мотивирована, она — лишь уловка героя, а не свойство мироустройства. В комедии удвоение — свойство персонажа, оно осуществляется помимо его воли, и можно сказать, что чем «лучше» комедия, тем последовательнее применен в ней этот принцип. В этом смысле Мольеровские герои глядят в сторону драмы — будь то мнимый больной или Тартюф, а «слуга двух господ», уальдовский «серьезный» и наш Хлестаков не заступают черты подлинного фарса.

В школе учат, что в «Ревизоре» обличаются злоупотребления администрации. Но для этого Гоголю достаточно было быть Островским, а Хлестакову — именно ревизором, взятки сыпались бы точно так же. Но «Ревизор» — именно комедия в самом полном смысле, «хорошая» комедия, и Хлестаков одновременно и не ревизор, но и не вполне Хлестаков. Как Тарелкин, который не вполне жив, но и не сказать, чтобы мертв. Хлестаков не играет ревизора, как Гамлет безумца, но оказывается ревизором. Тарелкин лежит в гробу, а в то же время иг-

рает своего живого соседа Сил Силыча Копылова. Налицо одновременно пребывание в разных ипостасях, абсолютно свободное и мгновенное переселения с одного полюса на другой, из бедности в богатство, из Азии в Африку, из жизни в смерть и обратно. Драма подчас эксплуатирует эту способность комедии, но всегда неуклюже редуцирует ее — к житейской ситуации, как в толстовском «Живом трупе», косноязычно ищет бытовые обоснования нелепой с ее точки зрения ситуации, проверяет паспорта и заботится о правдоподобии. Комедии всего этого никогда не надо, она не суетится ничего объяснять, чтоб было «как взаправду», она не эмпирична и, быть может, именно это право театра имел в виду Гете, когда говорил Эккерману, что Шиллер — драматург лучше, чем он, ибо «не заботится о мотивировках».

А если мы вспомним, что пра-протагонист комедии — Дурак на том свете, герой аристофановых «Лягушек», то покажется справедливым и такое утверждение: основной сюжет комедии — всегда путешествие на тот свет (откуда название поэмы Данта), а все названные выше ситуации — исчезновение — болезнь — сон — раздвоение — лишь подмена временной смерти, за которой герой возвращается — излечивается — пробуждается — воскресает. Все приемы позднейшего сюжетосложения эвфемистичны по отношению к этой, вполне языческой, пра-ситуации, которая сама по себе — метафорична, и служит созданию образа зыбкого и двоящегося, всегда лишь условно закрепленного, обратимого мира. Конечно, здесь налицо пресловутый природный циклизм умирания-возрождения, но нам важно

— что именно осталось в наследство нам, и в какой форме?

Точка зрения. В водевиле нас просят заглянуть в замочную скважину; в бытовой драме — встать на позицию «здорового смысла»; романтизм смотрит на происходящее с позиции благородного негодования, а французская классическая трагедия — с высоты идеала. В комедии же точка зрения как бы отсутствует. Она — везде, сверху и снизу, и взгляд комедии расфокусирован. В этом смысле комедия всегда — имморальна, как сказка, как эротика, как гроза или скала. Стихийна, как было сказано. Взгляд ее свободен, ее мир текуч и не закреплен, и именно поэтому комедия извечно противоположна и противоположена любой официальной концепции мира, как дома, как порядка и результата разумного устройства, на чем особенно настаивало европейское Просвещение, из духа которого, собственно, и родилась буржуазная драма.

Невозможность адаптации, не приспособляемость комедии к любым идеологическим целям. Любая попытка такого рода — будь то «сдержанная» комедия Ариосто, высмеивающая магов и астрологов, отталкивающаяся от комедии дель'арто, или попытки приспособить непристойный швабский фарс под инвективы против папского Рима у Ганса Сакса, — и сам Мартин Лютер, не меньший знаток искусств, чем наши секретари по идеологии, полагал, что комедия — отличное пособие для будущих проповедников, — наконец, невозможная советская «лирическая комедия», демонстрирующая возможности социальной адаптации совслужащих в социалистическом бытии, — любая такая по-

пытка сродни прикосновению, после которого в горшке остается лишь зола вместо золота. Верно и обратное: комедию нельзя приспособить и как «орудие борьбы», втискивая в нее сегодняшнее инакомыслие, — это тоже мгновенно нарушает тонкий механизм комедийного мира. Ибо комедия всегда инакомыслит по отношению к обществу, как половодье — неприменный диссидент с точки зрения дамбы.

Непристойность комедии. Вот пример — народная славянская игра в Умруна, несущая бессознательную память о древнем обряде. Кто-нибудь из парней изображает покойника, лежит в гробу посреди избы, обмыт, одет, во рту — желтые клыки, вырезанные из редьки, свечи, кадила, в которых тлеет навоз, бабий плач, шутовской священник из ряженных, и тут хватают кого-нибудь из девок и заталкивают покойнику в гроб. Следуют прилюдные непристойности, отнюдь не только насильные поцелуи, непременно показывается обнаженный фаллос, ибо мнимый мертвец начисто свободен от повседневных поведенческих норм. И пусть смысл древней игры забыт участвующими, с точки зрения постороннего — перед ним самодеятельный фарс, но фарс этот относится к обряду, как литературная комедия к самому народному фарсу: деревенская игра перестала быть функциональной, обрела не вовлеченного зрителя, обернулась представлением, которое в свою очередь вышло на подмостки и обрело литературную основу. Комедия в этом примере обыгрывает неразрывность темы смерти и темы зачатия, но не в вагнеровском смысле смерть-любовь, речь об эротике как катализаторе Воскресения, как неприменной смазке

не останавливающегося круга смерти и жизни, ухода и возвращения, и пусть кто-нибудь возразит, что поздняя машинерия нового театра с вращающимся на сцене миром — не подсознательная механическая метафора этой вечной темы круга бытия. И речь в этой игреспектакле — о жизни рода, поэтому-то комедия всегда антипсихологична, безлична, а герой ее — образ сугубо собирательный.

Это все и объясняет: и отсутствие фиксированной точки зрения, ибо на происходящее смотрит не пара глаз, а бесчисленное число; и неспособность комедии воспроизводить конкретные социальные перипетии, и свободу от доминирующих сейчас и здесь моральных норм, непристойность, имморализм, антипсихологизм. Все это свойственно, разумеется, и народной волшебной сказке, за исключением одного: удвоения персонажа, о котором было говорено, использования маски, как средства представить метаморфозу персонажа, свободного перемещения внутренней сути из одного тела в другое и способность каждого тела вмещать то одну, то другую суть, своего рода мгновенного театрального метаспсихоза. И если напомнить, что сутью и смыслом любого древнего ритуального представления была вера в шамана, душа которого прилюдно переселялась, скажем, в тело только что умершего, то мы придем туда же откуда начали.

Собственно, об этом больше нечего сказать, остается лишь заметить, что поздняя трагедия и драма — своего рода попытка преодолеть комедию, как изначальную форму театра. Если верно, что комедия говорит голосом рода, а трагедия выделяет отдельную лич-

ность, то можно сказать и так: комедия описывает полный и неразрывный круг бытия, трагедия же, а вслед за ней драма показывает разрыв, фатальную прерывность отдельной человеческой жизни. Но разрыв этот показывается как наказание, поскольку иначе он был бы бессмыслен, а смириться с ним мог бы только материалист, начисто лишенный мистического чувства и метафизического воображения. Не останавливаясь на этом, отметим лишь, что для поздней драмы это роковое наказание — не непременно следствие античной вины, но часто трагическая случайность, результат рокового стечения обстоятельств, губящее невинную жертву. Это обстоятельство, как правило, потеря талисмана, будь то платок, кольцо, веер или браслет. И можно было бы сказать полушутя, что герой новой драмы — это комический герой, оборонивший свой амулет, что не позволяет ему вернуться с того света.

Последние соображения стали в той или иной форме особенно понятны к концу прошлого века, когда остро почувствовалась искусственность деления на театральные жанры, ибо обнажились более или менее явно корни изначального Театра, — и возникло то, что получило название трагифарс. Можно сказать, что вместе с ним возник театр нашего времени — со «Смертью Тарелкина» и «Королем Убю», — в котором в очищенном виде предстало ядро Театра, то есть то, что остается за вычетом какой-либо функциональности, будь то утилитарные цели магического ритуала или идеологические — театра правдоподобия. Трагифарс, используя комедийные формы построения своего театрального мира, вместе с тем говорил о прерванности, разорван-

ности бытия, но отбросив при этом поиск каких-либо материально-«роковых» причин и обстоятельств. Трагичность его наследовала именно трагедии, всегда говорящей о разрыве родовой цепи, но речь теперь шла о невозможности реинкарнации, о потере рецепта метапсихоза, о трагической неудаче любой попытки традиционного комического удвоения: Тарелкин никак не может умереть, служанкам у Жене не случится ни совершить убийства, ни стать госпожами, мертвые в «Нашем городке» Уальдера никогда не смогут вполне воскреснуть, обреченные бродить лишь тенями среди живых. Трагически утрачен не просто амулет, герой оборонил комедийный рецепт бессмертия, то есть в каком-то смысле — потерял сам Театр. Трагифарс говорит о проблеме чисто эстетической наравне с трагедией бытовой, вполне их смешивая и уравнивая: разрыв ли бытия повлек смерть культуры, потеря ли культурой памяти расчистила дорогу к смерти — вот вопрос, вокруг этого кружил Арто в книге «Театр и его Двойник». Тут-то были произнесены и слова Жене, на сцене вновь, как некогда у ритуального костра, появились покойники, тут-то и пришло осознание Театра, как места общения мертвых и живых, и применение к этому театру термина абсурдистский можно понимать лишь критический рабочий прием — с таким же успехом театром абсурда нужно было назвать жизнеподобную буржуазную драму, которая лишь внешне по отношению к Театру наблюдателю могла показаться зрелищем логически оправданным.

Как и в традиционной комедии, в трагифарсе можно выделить ведущий прием — это всяческие варианты

невозможности действия, подаваемые как досадная помеха на пути отправления самых простых функций — еды и совокупления, высказывания — из-за обнаружившейся вдруг немоты, воспоминания, исполнения назначенной встречи, отъезда, женитьбы и, конечно же, умирания. И, по-видимому, первой именно «абсурдистской» пьесой мирового репертуара следует признать гоголевскую «Женитьбу».

Подколесин пытается осуществить срединную между рождением и смертью, посредническую функцию, но первая же реплика его, обращенная к слуге, мол, не слышал ли тот, сапожник не интересовался, не собирается да барин жениться, сигнализирует в метафизической невозможности принять по видимости обыденное решение. Забавно переворачивается проблема выбора — практические и житейские, логически обоснованные, пусть и комически, сомнения посещают никак не героя — невесту, что лишь оттеняет видимую необъяснимость колебаний самого Подколесина, и здесь до Бануэя один шаг. Заметим, что и рефлексия о театре запрятана Гоголем в текст, в рассказе Жевакина о Сицилии, и все вместе продолжено в линии А. К. Толстой — обереуты, когда «Елизавета Бам» окажется наследницей и «Блондов», и «Тарелкина», а до «Лысой певицы» останется больше десяти лет.

Мы снова оказались на круге театральной истории, и маятник начинает раскачиваться с новой энергией. Трагифарс, реанимировавший глубинный смысл театра, вступил в борьбу с физическим кинематографом, что в конечном итоге принесло Театру очищение. Отныне театральное удвоение не требовало сюжетно оправдан-

ных метаморфоз, потому что «заботу о мотивировках» можно было с легким сердцем оставить тем, кто заменил чудо отснятым на пленку фокусом. Актер в Театре стал живым мертвецом, как то и было положено, и само натяжение между персонажем и исполнителем — оказалось мифом, «развернутым магическим жестом», пользуясь выражением Лосева. «Психология», которая еще недавно в комедиях нового времени использовалась как подмалевка к жесткой графике комедийного действия, теперь оказалась осознана как древний сюжет неузнанности вернувшегося с того света, развернутые как разгадывание и узнавание. К раскрытию занавеса теперь никто не знает — кем является другой, жив он или мертв. И все выясняется лишь на подмостках перед зрителем. Можно сказать, что театр вернулся к левибрюлевскому «сопричастию, реализованному церемониями», и зритель опять оказался вовлеченным в действие, называй это театром «прово» или хэппенингом. Театр вернулся на круги своя, половинки воссоединились, но не у ритуального костра, а в смысле сокровенной мистически-эстетической вневременной его сути. Теперь каждый отдельный спектакль осознавался как трагически прерванный цикл умирания-возрождения, а возможность его многократного разыгрывания как бы компенсировала традиционный циклизм старой комедии. Таким образом, возобновляемость спектакля всякий вечер — не рутинная необходимость функционирования труппы, но — необходимость эстетическая, это всякий раз попытка возобновления движения к новому воскресению. Кстати, об этом примерно в одной из лекций говорил Мрожек, указывая, что в одном спектакле

проживается целая жизнь, завершаясь смертью, но возобновляется в следующем.

Здесь не удержаться от забавного наблюдения об авангардном театре, как о театре анатомическом. Если понимать способность авангарда к маниакальной повторяемости приема как его основной прием, и если авангард одарен-таки подлинно детской, безошибочной интуицией, то, ощутив единственную и сокровенную тему Театра, он и должен был свести общение с потусторонним миром — к общению с трупами, ибо, как правило, авангард — крайне конкретен и эмпиричен. Ясно, что такой авангардный театр должен разрабатывать темы каннибализма и некрофилии, но не в ритуальном, а в буквальном плане: скажем, пытаться показать на сцене совокупление с манекеном, поедание несъедобного предмета, проникновение в несуществующее отверстие, игру с отсутствующим предметом. И т. п., что мы видим сплошь и рядом на авангардной сцене.

Но остается ли Театр за всем тем, перефразируя манновское выражение, «торжественным нарядом тайны жизни»? Заклинает ли он по-прежнему миф, делая «вневременность доступной»? По-видимому, здесь не имеет значения ничто, кроме актерской игры. Театр остается, пока актер, меняя образы, в наивысшей точке в момент экстаза как бы смыкает на себе две части миропорядка, стягивая там и здесь. Тогда зритель заглядывает в мир, куда в обыденности заглянуть не дано, и мертвые смотрят прямо в глаза живым. В этот неповторимый миг мы немногим отличаемся от свидетелей

шаманского камлания и с трепетом следим за раздвоением человека на сцене, ощущая на лице дуновение инобытия. Тогда театральный персонаж — лишь чужак, затесавшийся в маскарад, подсадка в толпе цирковой публики, и на миг мы для героя на подмостках становимся не публикой, но изображаем толпу мертвецов. Ибо нельзя забывать, что мы не только профаны, сидящие в театральном зале, но и любители на подмостках жизни, актеры, которым на один вечер поручено сыграть роль живых.

август 90 — январь 91

СОДЕРЖАНИЕ

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА.....	3
БРАТЬЯ И АД.....	67
СЛЕПОЙ ДУЭЛЯНТ.....	128
ЗЕЛЕНый ГРАНАТ.....	189
МЕРТВЫЕ В ТЕАТРЕ.....	236